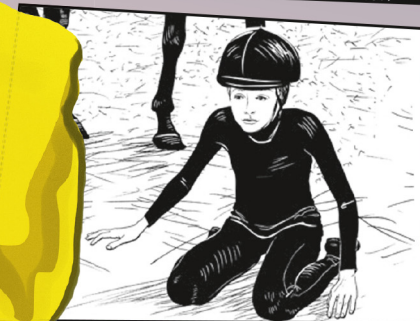


Ирина БОГАТЫРЁВА



Я – СЕСТРА ТОТОРО

Ирина Богатырёва

Я — СЕСТРА ТОТОРО

Повесть



Художник *Наталия Спиренкова*

Москва
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б73

Богатырёва И. С.

Б73 Я — сестра Тоторо : повесть / Ирина Богатырёва ; худож. Наталия Спиренкова. — М. : Дет. лит., [2021]. — 269 с. : ил. — (Сами разберёмся!).

ISBN 978-5-08-006491-3

Тринадцатилетняя Велеслава ищет ответ на вопрос, кто она, и никак не может найти. Вот, например, мама... Мама — это мама. Она всегда знает, что правильно, а что нет. Вот папа — спортсмен, герой и настоящий друг. Вот брат Велька — волшебник, инопланетянин и маленький гений, что бы там ни думали о нём посторонние. А она? Что нужно лично ей? Быть собой — это очень трудно. Особенно когда ты самая обыкновенная. Не лучше ли превратиться из Велеславы просто в Валю и слиться с компанией ровесников? Заняться конным спортом всерьёз, а не просто любить «коняшек» на расстоянии? Может быть, тогда жизнь перестанет казаться такой непонятной и в ней наконец появится и настоящее дело, и настоящие друзья?

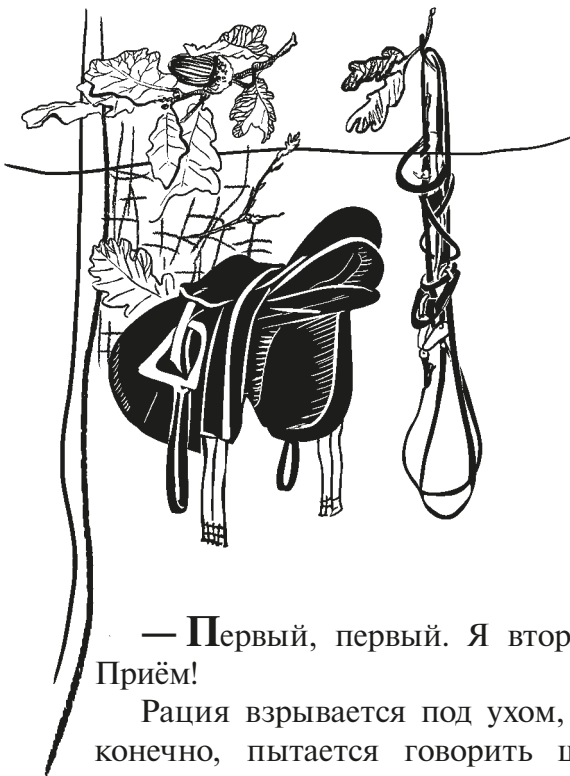
В 2019 году повесть заняла третье место во Всероссийском конкурсе на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру».

Для среднего и старшего школьного возраста.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-08-006491-3

© Богатырёва И. С., 2021
© Спиренкова Н. И., иллюстрации, 2021
© Дульцева Е. А., фото автора на переплете, 2021
© Оформление серии. АО «Издательство «Детская литература», 2021



Моему мужу

Глава 1

— Первый, первый. Я второй. Как слышите меня? Приём!

Рация взрывается под ухом, шипит и плюётся. Она, конечно, пытается говорить шёпотом — точнее, это папа пытается, но кто-нибудь слышал шёпот рации?

Спросонок кажется — сейчас оглохну.

— Второй, я первый. Вас слышу. Приём!

Я тоже стараюсь говорить шёпотом, чтобы не разбудить Вельку. Впрочем, он никогда не просыпается ни от меня, ни от рации. Ну или делает вид.

— Получено задание — разведать территорию дислокации марш-броском. Как поняли меня, первый? Приём!

— Второй, вас понял. Приступаю к выполнению. Отбой.

Сейчас бы упасть в подушку, но нет. Задание есть задание. А по-простому: папа не будет ждать.

Стекаю с верхнего яруса кровати. Так, майка, легинсы... Носки, конечно же, потерялись. Вечно они в разных углах, эти носки. Папа говорит, одеваться надо, пока горит спичка. Вообще не представляю, как это делать: я и так как могу быстро одеваюсь и одежду заранее складываю возле кровати, разве что только вот носки эти чёртовы, и всё равно — не спичка, а целый коробок успеет сгореть, пока я оденусь, сделаю на голове хвост и выскользну из комнаты.

В ванную, холодной воды на лицо, скорчить рожу отражению — у, засоня! — и вперёд.

— Второй, второй, я первый. Приступаю к выполнению. Как слышите меня? Приём!

Это значит, я вышла из подъезда, иду к спортивной площадке. И голос уже не такой хриплый. И глаза почти разлиплись.

— Приступайте.

Даже по рации слышно — папа запыхался. Разминаясь: приседания, подтягивание, бег на месте, вот это всё. Я подключаюсь: растяжка, приседания, наклоны... Тело скрипит и сопротивляется. Не проснулось ещё.

— Первый, второй приступает к выполнению задания, — говорит папа уже без рации, просто оборачивается ко мне и говорит. И улыбается. Суперагенты, конечно, не улыбаются, когда идут на задание. Хотя... Мой папа вот, например, улыбается.

— Вас понял, — говорю, набрав в лёгкие воздуха, и поднимаюсь из планки.

А папа уже бежит по дорожке, и мне надо за ним. Не чтобы не отстать — я всё равно отстану, за ним не угнаться. Просто задание есть задание. В смысле понятно — это всё папа придумал, чтобы я не отлыни-

вала от пробежек. Продолжает со мной играть, как с маленькой. Но, если честно, я не против, раз ему так нравится. На самом деле я тоже люблю с ним бегать, особенно сейчас, когда мы переехали и можно не по полю за школой круги нарезать, а убежать в настоящий лес.

Мы переехали недавно. Ещё двух недель нет. Ну, то есть мы давно готовились, конечно, а родители вообще говорили об этом год, наверное: им очень не нравилось, где мы раньше жили, — там тесно и машины сплошные, а папа хотел, чтобы было где гулять. И поэтому они стали продавать нашу старую квартиру, и к нам постоянно ходили какие-то люди, цокали языками. Нам было, конечно, грустно, и на родителей я злилась: мне совсем не хотелось переезжать. И папа всё нервничал, потому что не мог подобрать что хотел. Пока наконец не нашёл, и мы поехали все вместе — смотреть.

Это было в феврале, и мы, если честно, тогда ничего не поняли. По крайней мере, я ничего не поняла. Квартира была пустая, какая-то обшарпанная. Пахло в ней непонятно чем, но не по-нашему. Но папа был счастлив. Бегал по комнатам, хлопал дверьми и окнами, показывал нам всё. Как будто мы сами не видели: ну да, кухня, ну да, ванная. Ну да, зал большой, это прикольно. И детская тоже немаленькая. «А главное — смотрите! — окна в парк!» — папа замер перед самым большим.

Я подошла. Посмотрела тоже. Слякоть была тогда и вечер, ничего не видно — парк, не парк. Торчат какие-то чёрные деревья, блестит под ними лужа. «Грязь сплошная», — сказала мама. «Ты ничего не понима-

ешь! — сказал папа, уходя за ней в другую комнату. — Человек — существо природное. Ему без природы нельзя. У каждого человека должен быть свой лес, — долетало из-за открытых дверей. — А если не лес, то хотя бы парк». — «Ты в парке, что ли, жить собрался?» — «Нет! Но если у человека есть свой лес, у него вся жизнь идёт по-другому: ему есть куда возвращаться. Ты понимаешь?» — «Пол сам будешь каждый день мыть, когда из леса своего станешь возвращаться», — говорила мама, и эхо таскало её голос по пустым комнатам. Но всё равно по этому голосу было понятно, что квартира ей нравится.

А мы с Велькой стояли у окна, прилипнув лбами к стеклу, и смотрели в блестящую черноту. Точнее, я смотрела, стараясь понять, нравится мне тут или нет. А Велька ничего понять не пытался. Он чертил пальцем по пыльному подоконнику и что-то болтал на своём языке. Просто он такой. Станный. Мама говорит — особенный. Это она его не понимает и придумывает всякое, чтобы самой себе объяснить. По-настоящему Вельку только я понимаю. Но не говорю об этом никому. Даже маме. Зачем?

«Вечер, — сказал тогда Велька не оборачиваясь. Точнее, он, конечно, сказал „веер“, но я-то сразу поняла, что он имел в виду. — Веер, иди ме!» — крикнул звонко, аж стекло завибрировало у меня подо лбом.

И я сразу увидела, что он хочет сказать: вечер, мы сидим вместе. Мы уже живём здесь, в этой пустой пока квартире, сидим вечером, пьём на кухне чай и болтаем. И Велька смеётся и расставляет по столу своих динозавров, а за окном — вот так же слякотно, темно, и вода блестит под деревьями. Но не странно и

непривычно, как сейчас, а знакомо и приятно. И смотрит на нас оттуда, снаружи, что-то большое, тёплое и любимое. «Наверное, парк», — подумала я, и сразу мне стало спокойно от того, что мы переезжаем.

И подумала, что нам, по сути дела, повезло.

Но как нам на самом деле повезло, я поняла только потом. Когда мы с папой стали бегать по утрам, и он открылся, наш парк, и зазеленел в лицо всеми своими деревьями, зашелестел, зашумел, заблестел прудами — вот как сейчас.

Фух, хочется остановиться, но нельзя. Папа говорит: если побежал, беги, хочешь — сбрось темп, но беги, дыхание не сбивай. Вот я и бегу.

По дорожке, по тропинке, мимо кустов, под веткой нагнуться, в оглушающих запахах леса, травы, влажной земли — под ногами чаф-чаф, в лужу — прыг, брызги на штаны, а я уже дальше, дальше! Вон мостик через овражек, в овражке стоит чёрная, страшная вода, жуть, в таких кикиморы водятся, а с берега птица какая-то — ф-ф-фыр! — и в сторону, и наверху что-то уже стрекочет. Люблю это место, дикое, мрачное. Дорожка вьётся вдоль оврага, дубы растут вековые, корни у них — с мою руку, торчат из земли, только перепрыгивай. И пахнет — лесом, пряным, прелым, ах!

Жаль, жуткое место быстро кончается. Вот сейчас выскочу к первому пруду — и там папа. Далеко, на другой стороне, или уже сворачивает ко второму пруду, но я его успею заметить. Папа бежит быстро, носится как метеор, говорит мама. Мы когда за школой бегали, там, где раньше жили, нормально было: я — один круг, папа — два, я — два, папа — четыре, я — четыре, папа — чуть ли не десять. И ещё что-то кричит мне, под-

бадривает, когда сзади нагоняет. Проносится мимо — настоящий метеор. Поэтому здесь мы завели рации. Чтобы не теряться.

Но у пруда папы нет. И у второго тоже. Странно. Мы уже неделю так бегаем, и он всегда здесь мне встречается. Ну ладно, не всегда. Иногда — вон там, на третьем пруду, где детская площадка и красный кораблик.

Бегу туда. По хрустящей, посыпанной крупным красным песком дорожке, вниз — к кораблику. Тут лодочная станция, можно лодки брать, но мы ещё не пробовали, хоть папа и обещал. А дальше — настоящий лес, и туда я пока не совалась. Он большой и, кажется, мрачный. Может, папа там?

— Второй, второй, я первый. Как слышите меня? Приём!

Рация трещит, но не отвечается.

— Второй, я первый. Сообщите о ходе операции. Приём!

Нет ответа. Сплошной треск. Останавливаюсь. Всё равно дыхание сбито. Оглядываюсь. Куда же он мог побежать?

— Второй, сообщите ваши координаты. Приём!

Координаты обычно сообщаю я, потому что это меня папа обычно ищет, когда отбёгал своё. А вот чтобы я искала папу...

Фу, как это, оказывается, неприятно — потерять кого-то. Или потеряться? Без разницы, всё равно противно. Вроде всё нормально: парк, солнышко, люди бегают, с собаками гуляют, но уже не так, как было только что. И собаки какие-то стрёмные. И люди подозрительные.

— Пап, ну ты где?

И тут рация как будто ломается, и папа оттуда:

— Кроль, я пожар тушу.

— Пожар? Какой пожар? Второй, поясните. Пап, я не поняла.

— На конном дворе. Это слева, как домой идти.

Что ещё за пожар? Это он опять придумал? Какой конный двор? У нас в парке?

Но тут я поднимаю голову и сразу вижу: над деревьями валит густой чёрный дым. Как раз там, где папа сказал, — как домой идти, слева.

Ох, если б я так каждое утро бегала, как в тот момент стартанула, меня можно было бы на Олимпиаду отправлять! Чёрные клубы валят в голубое небо, и сердце колотится как бешеное. Так и представляю, что горят какие-то конюшни, ржут в стойлах и бьются кони, и мой папа — один среди всего этого, в снопах искр и пламени, борется с огнём, открывает двери, выпускает лошадей, и, обезумевшие, они выносятся наружу, сбивая папу с ног...

Папа! Я с тобой! Я уже бегу!

Мимо прудов, по дорожке, в лес, через заросли, под веткой пригнуться... вынырываю — поляна. Кругом деревья. Куда теперь? Оглядываюсь. Дым в другой стороне. Чёрт! Назад, через заросли, по тропинке, под кустами, вылезти на дорожку, повернуть...

Вот оно!

Посреди леса — огромный белый шатёр, как дом. Нет, как два дома. Он из плёнки, как на теплицах, и вот она-то и горит. Точнее, дымит и ужасно воняет. И папа тут. Правда, я его не сразу замечаю. Он такой маленький по сравнению с этим белым. И что он



делает, тоже не сразу понятно. Потому что огня нет. Он не бушует, не полыхает, а так, небольшие сполохи пробегают по плёнке. И кажется, будто она сама собой исчезает, только остаётся чёрный обугленный край. А папа рвёт горящие куски и топчет, рвёт и бросает на дорогу. При этом машет руками и прыгает. Всё это выглядит нестрашно, несерьёзно и даже не очень мужественно.

— Пап, тебе помочь?

— Кроль! — Оборачивается. Взмок весь, хуже чем на тренировке. Но, кажется, он мне рад. — Видишь забор? Там конюшня, люди должны быть. Беги, позови кого-нибудь. Скажи, пусть несут, что у них там: лопата, вилы, грабли! Сбить надо!

И показывает наверх, где всё выше и выше обугливается и плавится плёнка и валит дым.

И я снова бегу.

Забор, забор, чёрные прутья. А вот и калитка!

Заперто.

— Эй, люди! Есть кто-нибудь?!

За забором идиллическая картинка: какие-то домики, вдали — загончик, клетки с кроликами, воробьи летают, клюют что-то с земли. Как будто в ста метрах отсюда пламя не поедает белый купол. Не валит в небо дым, и папа не прыгает на куски обугленной плёнки. Один!

— Есть кто живой?! Пожар!

Если честно, я терпеть не могу кричать. В смысле, привлекать к себе внимание. Я себя в таких случаях так чувствую — ну, как будто я совсем маленькая и мне очень страшно, и никто-никто мне не поможет. Я один раз, когда мы с папой в лесу были, заблуди-

лась, так даже не смогла «ау!» крикнуть. Просто бежала там, пока не услышала, что он меня зовёт, а сама ничего сделать не могла.

Но тогда — это давно. А сейчас совсем другое. И делаю я это не для себя.

— Помогите! Пожар! — ору и хватаюсь за решётку, трясую калитку изо всех сил, так что забор начинает гудеть. Если там кто-нибудь есть, он точно должен от такого проснуться.

И правда: выскакивает из дальнего домика заспанный мужик, смуглый, темноволосый и лохматый.

— Э, что случилось, а?! — кричит с акцентом.

Будь всё по-другому, я бы его обязательно испугалась. Но разве я бы стала так себя вести, будь всё по-другому?

— Пожар! Шатёр горит! Мой папа там!

— Пожар? Какой пожар? Что гори... — Но оборачивается и видит сам — столб чёрного дыма в синее весеннее небо. — Ва, алла! — Хлопает себя по ляжкам и аж приседает. — Пожар!

А то я вру.

— Палка нужна! И грабли! Или что у вас, вилы? Есть вилы?

— Вилы? Ах, вилы! — Мужик убегает куда-то за домик и возвращается с вилами и лопатой. Отпирает замок и бросается в лес, к шатру.

— А мне?! — Кидаюсь за ним.

— Э, девочка, не мешай! — бросает не оборачиваясь. Это я — не мешай?! Да у меня там папа!

Но мы уже выскакиваем к шатру.

Огонь выгрыз в нём приличную дыру. Папа, маленький и какой-то отчаянный, стоит внизу и пыта-

ется с ним бороться. Точнее, он не стоит, он прыгает, он нашёл длинную палку и сбивает горящие куски, но плёнка тлеет всё выше и выше, так что папа собьёт в одном месте — а оно ползёт дальше. Как будто бы он сражается с драконом, а у того вместо одной головы отрастают две новые.

— Ва, алла! — Дядька снова приседает, но уже не хлопает себя: руки заняты. Подбегает к папе и начинает с ним вместе сбивать огонь вилами.

Но хоть вилами, хоть палкой — это всё одинаково бесполезно. Это даже мне понятно: огонь не достать, сожрёт он сейчас всю плёнку.

И тут папа бросает палку, пролезает внутрь и карабкается по металлической конструкции, которая держит шатёр!

Дядька аж крикает, глядя на него, но папа уже высоко.

— Вилы! — кричит оттуда, и дядька протягивает их наверх.

Папа ложится на перекладине, дотягивается, выпрямляется — и начинает сбивать огонь над головой. Чёрные хлопья и огненные снопы летят вниз, и дядька кидается на них и топчет.

— Й-и-и-и! — кричу я и тоже кидаюсь, но дядька рыкает на меня:

— Уйди, девочка, да! Отойди, там стой!

Я прямо теряюсь. У меня папа на самой верхотуре сражается с огнём, а я «там стой»?! Но дядька забыл уже обо мне: сверху сыпется, только успевай уворачиваться и хлопать лопатой по горящим кускам. Честно сказать, у него хорошо получается и помощь не нужна совсем. Но чисто из вредности я всё равно топчу кое-

какие искры, которые улетают в сторону. Хотя это и не очень героично.

Наконец сверху перестаёт падать.

— Порядок! — кричит папа. — Разойдись!

И вилы летят вниз, вонзаются в землю. Папа спускается быстро и ловко, прыгает с последней перекладины — там с меня ростом, но ему это нипочём. Только запыхался. И дядька тоже. Ну и я, хотя не особенно устала. Просто сердце колотится и гордость за папу разбирает.

— Ва, алла, спасибо вам большой, да! Я бы один — никак не смогу! Как хорошо, вы тут оказался, а! — говорит дядька и жмёт папе руку обеими своими.

Папа улыбается, а я ещё больше им горжусь. Конечно, не справился бы! Дядька вон какой — кряжистый и широкий, он бы на такую верхотуру ни за что не залез. А папа — пожалуйста! Понятное дело, альпинист.

— Хулиганы, а! — продолжает дядька. — Я сколько раз говорил: «Валерьевна, поставь забор. Я охранять не могу, я на конюшне, как я буду охранять?» Сколько раз говорил: «Поставь! Тут сколько люди ходят, кто ножом, кто зажигалку. И всё, нет манежа!»

— А это для коней манеж? — спрашиваю, и у меня аж дыхание перехватывает от восторга.

— А если забор, уже близко не ходи. — Дядька меня как будто не слышит. — И что? Где занимайся теперь, а? Дороже самой будет!

— Здесь занятия проходят? — перебивает его папа, поймав мой взгляд. — На конях?

— Кони, да, — переключается он. — Школа. Дети ходят. Вот такие. — Оборачивается на меня. — И взрос-

лые тоже. Да вы приходи! — вдруг оживляется он. — Я скажу Валерьевна, что вы так помогал! Совсем бы манеж сгорел. Она скидку делать будет.

Я подпрыгиваю. Губу закусил, чтобы не завизжать, ладони сцепил, чтобы не захлопать. Только прыгаю и мычу. И папе киваю — соглашайся! Это же кони! Мечта!

А он:

— Ну, я не знаю... Это, наверное, сложно?

— Что сложно? Кому сложно? Кони — легко! Это же сел и вези. Дети справляются! У нас в деревне все ездят. Это вон там сложно! — Он махнул на железную конструкцию, торчащую из манежа, как рёбра мёртвого кита.

Я так и прыгаю, как мячик. А папа как специально на меня не смотрит.

— Хорошо, — говорит, — спасибо. Мы подумаем. Идём, Кроль.

— Пап!..

— Вы телефон запиши. Звони и приходи.

— Хорошо, спасибо. Мы позвоним.

— Пап!..

— Идём, Кроль. До свидания.

И уходит. Он так из магазинов уходит, когда мы с Велькой канючить начинаем.

Ну ладно, не мы, а я. Велька никогда не канючит.

В таких случаях главное — не перегнуть. Не показать, как страшно тебе этого хочется. Что ты всю жизнь мечтал. Что спал и видел. Что...

— Па-ап! Ну пап! Ну это же кони! — Кажется, я совершенно не умею держать себя в руках. Забегаю то

с одной, то с другой стороны. Ловлю его взгляд. — Пап, ну мы же давно хотели. Ты же ещё в поход думал, на конях. А тут — рядом с домом, прикинь. Ну пап!

— Кроль, такие дела так просто не решаются. Я не могу один. Надо узнать, что скажет мама.

— Мама! — Я фыркаю. — Конечно, мама скажет «нет»! — Я изображаю на лице ужас, как делает она, когда мы ей предлагаем что-нибудь самое невинное. Прокатиться на банане там. Или сплавиться по речке. Да хоть что. — А потом она скажет: «Ни за что!» — Делаю большие глаза и хватаюсь за грудь. Папа ухмыляется, но не более того. Он строг. Он суров. — А потом: «Вы совсем решили меня с ума свести!» — Сжимаю губы и театрально поворачиваюсь на месте. Песок шуршит под пятками.

Папа смеётся:

— Похоже, Кроль. Но нам всё равно надо её спросить.

— Да спросим... — вздыхаю. — Куда же деваться. Но про себя ликую: папа — на моей стороне.

Мы договариваемся не вываливать всё с порога. Но как это можно — не вываливать, если всё в тебе клоочет, аж дышать нечем? Только папа сказал: надо действовать осторожно. Как разведчики. То есть держаться и молчать.

Я зажимаю в кулак большой палец. Буду держаться.

Дома уже никто не спит. Пахнет сырниками, и я понимаю, что сейчас съем слона.

— Что-то вы сегодня долго! — кричит мама с кухни. — Завтрак на столе.

— Это мегасуперупоительно! — кричу я тоже и, пока папа идёт в душ, ныряю на кухню.

Велька уже на месте. Болтает ногами и болтает с кем-то, кого нам не видно. На столе — тираннозавр. Нормально. Велька бы ещё с ним по-человечески говорил, а не на своём птичьем языке, но и так сойдёт. Год назад он и этого не мог.

— Что сегодня видели? — спрашивает мама. Она стоит у плиты и доделывает сырники.

— Пожар тушили, — говорю как можно будничней.

— Пожар? — Мама оборачивается. — Какой такой пожар? Где?

— Да так, — пожимаю плечами. И молчу. В смысле, держусь.

Мама хмыкает и отворачивается. Наверное, решила, что это мы опять с папой играем.

А он всё не идёт, и во мне клокочет, сил нет. Хватаю сырник и целиком засовываю в рот. Он горячий, начинаю шипеть и булькать, как рыба. Велька смеётся.

— Ну что ты делаешь! — хмурится мама.

— Мам, — говорю сквозь сырник, — а хакфы ты отнехлах к хому, ехли я фрук...

Велька заливается. Мама качает головой:

— Хватит, прожуй сначала.

Я сглатываю. Горячий сырник шлёпается в желудок. Морщусь.

— Как бы ты отнеслась к тому, если я вдруг... ну, нашла бы себе увлечение? Ты же говорила, что человеку без увлечения нельзя, а у меня его нет, и вот если бы я...

— Хорошо бы отнеслась, конечно. А какое?

— Ну, так...

И хватаю ещё один сырник. Хорошо всё-таки, что я не разведчик. Если бы я им была, была бы страшно толстой: попробуй всё время есть, чтобы молчать!

На счастье, приходит папа. Довольный, свежий, пахнет гелем для душа. Садится за стол.

— А чай?

— Заваривается.

Мама открывает крышку, из чайника валит пар. Папа пьёт очень крепкий чёрный. Мама — зелёный, а по утрам кофе. Нам с Велькой — какао. Вот так и живём.

Мама ставит турку на газ.

— Стас, Славка говорит, вы какой-то пожар тушили? — спрашивает как бы невзначай.

Папа стреляет в меня глазами, я делаю вид, что ничего не слышу. Как Велька. Разведчиком мне всё равно не быть, это уж ясен пень.

— Было дело, — кивает папа. И тоже кладёт в рот целый сырник. Не я одна такой способ придумала, ага.

— Ну, то есть... это... на самом деле? — спрашивает мама. — Или не считается?

— Считается! — не выдерживаю я. — Ещё как считается! Папа — герой! Он на такую верхотуру залез! Он прямо!..

— Кроль! — одёргивает папа. — Ну правда. Что за герой ещё?

— Нормальный. Обыкновенный.

Папа делает мне выразительные глаза, но мама уже забыла о кофе, обернулась и смотрит на нас. И даже

Велька на нас смотрит. Он, когда что-то по-настоящему интересное начинается, всегда из своего воображаемого мира выныривает, я уже замечала.

— Так. Ну-ка рассказывайте, — говорит мама, и по её голосу я понимаю, что лучше и правда всё рассказать, иначе она сейчас сама себе всё сочинит. Мама — она такая, у неё с воображением хорошо и даже слишком. Ей слово скажи, она из него соорудит историю. Да чего там историю — роман-опусею! — Это где было?

— Да тут, в парке. Манеж горел, — говорит папа самым будничным тоном. Как будто он каждый день манежи тушит.

И опять сырник в рот.

— Манеж? — спрашивает мама, и я прямо вижу, как перед её глазами взвиваются столбы пламени. — И ты потушил? Один?

— Ну, во-первых, не один, — говорит папа с набитым ртом. — А во-вторых, не особо-то горело. Плёнка тлела. Кто-то окурок, наверное, кинул.

— Что-о-о? — выдыхает мама, и по голосу понятно: перед её глазами уже бушует огненное море, и сирены, и пожарные машины, но никто не может прорваться, и папа один сражается со стихией, без защиты, в шортах и футболке. В искрах и дыму. Короче, блокбастер «Пекло» с папой в главной роли. У мамы даже взгляд останавливается и лицо такое делается, как будто и правда фильм смотрит.

— Зато мы узнали, что тут конюшня есть, — говорит папа как бы невзначай.

— Конюшня... — повторяет мама, как заколдованная.

В её внутренней киношке папа выносит на руках из огня женщину и ребёнка. Сначала ребёнка — это меня, а потом женщину — это её, конечно. То, что где-то на заднем плане носятся и ржут кони, мама не замечает.

— И мы вот подумали — ну, мы же как-то говорили, помнишь? — а не отдать ли нам Славку в конноспортивную школу? Она давно мечтает.

— Ага, Славку... Что? Какую Славку? Куда? — В воображаемом кинотеатре у мамы врубили свет на самом интересном месте.

— Мама, коняшки! — Я делаю щенячье лицо. Я это умею.

Или умела, когда мелкая была. Сейчас, кажется, уже не работает.

— Куда отдать? — Мама переводит взгляд с меня на папу. И ясно, что он сейчас пожалеет, что тушил этот манеж. Она устроит ему «Пекло-2».

— Ну, в секцию. Конноспортивную. — Папа вспоминает, что у мамы на слово «школа» аллергия. — Тут прямо под боком. Везение же. Ну и я бы заодно походил.

И тут я кусаю себя за язык. Просто забыла, что он у меня во рту есть — и хватать!

Больно — ужас! Папа, ты бы хоть предупредил!

Замерла, не дышу. А мама тоже уставилась на папу.

— Отличная идея! — говорит потом, только таким голосом, что ясно: ничего она не отличная. — Чем она одна там угробится, лучше сразу обоим руки-ноги переломать.

— Почему вдруг сразу? — хмыкает папа, но понимает, что ляпнул не то. — В смысле, никто не собирается...

— Да потому что это кони, Стас! Ты что, не знаешь, что это опасно!

— Жить вообще опасно, Светик, от этого умирают, — говорит папа.

Мама ничего не отвечает, отворачивается к своей турке. Стоит надувшись. Во мне всё аж сжимается. Терпеть не могу, когда они ссорятся. Особенно из-за меня.

Смотрю — Велька стекает под стол. В одной руке сырник, в другой — тираннозавр. И замирает там с ним в обнимку.

— Может, ты в качалку лучше абонемент возьмёшь? — спрашивает мама не оборачиваясь, и у меня отлегло от сердца: не поссорятся. Во всяком случае, не сейчас.

— Качалка — это железо. А тут кони, живые лю... — Папа соображает, что оговорился, и обрывает себя: — Всё равно на стенку пока не хожу, так хоть что-то будет.

Зимой папа всегда занимался скалолазанием. Чтобы держать себя в форме, как сам говорит. Но как мы переехали, не занимался: ездить стало далеко.

— Адреналина тебе не хватает, — говорит мама как-то грустно. Не то спрашивает, не то нет — не понять.

Папа пожимает плечами. А я боюсь даже пикнуть. Потому что если мы с папой будем учиться ездить на конях — это же мечта, это сказка, это я просто не знаю что!

Но сейчас всё зависит от мамы. Если она скажет «нет», папа ничего делать не станет. Он в таких случаях закрывает тему раз и навсегда. Я знаю, проходили уже.

Но мама задумчиво смотрит куда-то в пространство. И думает о чём-то другом.

— Ай, ладно, — машет потом рукой. — Что я вас, держать, что ли, буду? Делайте как нравится.

— И-и-и! — кричу и кидаюсь к ней обниматься. — Спасибо, спасибо, спасибо, мамочка! Папа, покупай двойной абонемент!

— Ой, не визжи, голова от тебя, — морщится мама. — И откуда только такое желание свернуть себе шею? В тебя, — бросает папе.

— Всё из материалов заказчика, — непонятно отвечает он, подходит к маме, приобнимает и чмокает в щёку. — Не переживай, Светик, мы обещаем не ломаться.

— Знаю я вас, — хмыкает мама.

А я сажусь на стул, и болтаю одной ногой, и кусаю сырник: можно больше не давиться, а поесть по-человечески.

— Або неме! — вдруг кричит Велька из-под стола. — Або неме нененет! — Выскакивает из кухни и несётся в комнату. Грохает там по клавишам пианино раз, другой. Потом собирает аккорды: — Або! Неме! Ане! Мене! Абонеме немо нент!

Кричит и долбит, долбит по бедному инструменту. И я прямо чувствую, как ему неудобно, как больно, как пытается он найти равновесие с этим «абонеме» и собственным миром, где всё совсем не так. Где не слова, а звуки и где звуки — это слова. Ему сложно, ему приходится переводить, чтобы с нами общаться,

но он умный, он уже догадался об этом и изо всех сил старается.

Но если вдруг попадаетесь сложное, незнакомое слово — его переклинивает. Становится плохо, и он ищет, ищет — как оно звучит, как его по-своему сказать.

— Аба неа!!! Неа! Ба! Не! Ме! А!!!

Я смотрю на папу с мамой — они как оцепенели. Я знаю, что им хочется пойти сейчас, успокоить. Но нельзя. В таких ситуациях Вельке лучше побыть одному. Мы ему только мешаем. Потому что мы не знаем, что у него в голове, мы не можем помочь ему. И будет только хуже. Потому что пока он не найдёт, он с нашими словами не справится. Так врач говорил: если Велька не может что-то понять, он перевозбуждается. Это как с кастрюлей, которая закрыта крышкой и в ней вода кипит. Она будет выплёскиваться и стучать этой крышкой. Надо просто огонь убавить. Вот и с Велькой так: надо просто его оставить в покое.

Мы раньше этого не понимали, начинали успокаивать. Я помню, какие с ним жуткие истерики случались, только лекарства помогали. Он ещё и дрался, когда мелкий был, и головой о стенку бился, как будто старался выбить, что там застряло. Ужас, короче. Теперь не так. Теперь это реже, во-первых. Во-вторых, мы знаем, что лучше не трогать.

А в-третьих, у него появилась музыка.

Она случайно появилась — ему окарину подарили. Это такая глиняная свистулька, крупная, похожая на сердце. Как в мультике про Тоторо: там лесные духи ночью сидят на дереве и играют на таких штуках. Звук низкий, гулкий. Приятный и какой-то пушистый. У мамы подруга есть, керамист. Вот она её слепила и



подарила. Велька в эту окарину сразу вцепился, потому что Тоторо мы давно любим и он её узнал.

Мы, правда, были уверены, что он её быстро раскокает, а он возьми и заиграй. Сначала абракадабру, конечно, просто дырочки пальцами перебирал. И ещё передувал нещадно: окарина свистела, сипела и захлёбывалась. Велька бесился, верещал, стучал по столу. Но кулаками, не окариной. Как будто бы понимал, что хрупкая. Хотя до этого все игрушки ломал за раз, вообще ничего нельзя было в руки давать. И скоро у него стало получаться. Звуки выстраивались в мелодию. И он стал эту окарину везде с собой носить. Мама ему мешочек на шею сшила, он с ней не расставался, если что надо — дудел в неё, и всегда по-разному. Как будто так разговаривал.

Мама его тут же потащила к каким-то педагогам. Оказалось, у Вельки талант. А главное, оказалось, что музыка внутри Вельки. Для него наши слова не слова — а тоже музыка, и только музыка имеет смысл. Это сложно объяснить, но вот так у него устроен мозг: он слова переводит в музыку, это для него информация. И как только он на окарине научился играть, сразу всё стало на свои места. И истерики стали реже. И он как будто понял, как с нами общаться.

Потом он на пианино начал заниматься и вообще резко изменился. Теперь он тихий. Может часами сидеть и играть. То играть, то просто что-то бряцать, перебирать звуки. Нажмёт на клавишу — и слушает, долго, уже затухнет, а он всё прислушивается. Потом другую. И так десять минут, полчаса, час. Его больше ничем не заставишь так долго заниматься. Рисовать ещё любит, но музыка — это святое. Он по программе

мало занимается, гаммы там, всё такое. Но ему педагог хороший достался, молодая женщина, нормальная, не то что моя Полушка была. Она его особо не мучает, учить ничего не заставляет, её дело — чтобы он освоился с инструментом. Остальное — сам.

Мне теперь стыдно признаться, что я Вельку раньше не любила. Не любила и боялась. Потому что он совсем бешеный был, когда мелкий. С ним пытаешься играть, а он вдруг начнёт на месте крутиться и размахивать руками, как вертолёт. И орёт противным голосом. Или ещё, помню, — подходит и тянет тебя за руку, больно. Или кусает, если ты ему что-то не даёшь или не понимаешь, чего ему от тебя надо. А он хоть и мелкий, а кусался и дрался сильно. Я драться тоже умела, но от Вельки как будто цепенела, настолько он жуткий был. Убегала от него и кричала, чтобы отстал. Да и вообще неприятно это, ну что за брат такой! Не брат, а зверёныш, честное слово. Оборотневый ребёнок, подменыш. Мне стыдно с ним было гулять: когда мама его на площадку брала, я всегда куда-нибудь убегала. Только бы не подумали, что мы вместе, что я с ними.

А теперь нормально. Теперь мы дружим, и у нас даже свои секреты появились. Например, что я его слышу и понимаю. Но это ещё ладно. Один раз вообще такое было, что я никому не расскажу. А то решат, что я тоже с ума скатилась.

Крик стихает, аккорды сложились. Велька играет их, перебирает один за другим. Або-не-мент. Або-не...

Мама выдыхает и снимает с плиты турку с кофе.

Как раз в последний момент, не успел убежать.

Глава 2

Мама не права: я никогда не мечтала свернуть себе шею. Просто когда я была мелкой, я совсем не умела сидеть на месте. Лазать по деревьям, стрелять из лука, гонять на велике и прыгать по крышам гаражей — если бы я могла всё это делать, я была бы совершенно счастлива. А так мне приходилось только слушать рассказы папы о его детстве в деревне у бабушки, где он мог всем этим заниматься. И был совершенно счастлив, конечно.

Я тоже, сколько себя помню, всегда пыталась куда-нибудь залезть. Стоит маме отвернуться — а я уже вишу на последней перекладине лазалки на детской площадке вниз головой. Или карабкаюсь на забор. Или на дерево, если оно удобное, а не сосна какая-нибудь. На сосну я тоже пробовала, но только оцарапалась. Или дерусь с кем-нибудь — драться я тоже любила, в саду всех мальчишек колотила, ко мне подходить боялись. И в первом классе дралась, пока меня ещё в школу водили. А потом эта лафа кончилась, и драться стало не с кем.

Короче, у моих родителей всегда стоял актуальный вопрос: ребёнка надо куда-нибудь отдать, чтобы он энергию сбрасывал. В секцию или там кружок. Но беда в том, что у нас с мамой совершенно разные взгляды на то, чем я должна заниматься. Поэтому, куда бы меня ни отдавали, добром это не кончалось.

Например, в четыре года мама отдала меня в балет. В её воображении я была девочка-цветочек в прозрачной юбке и пуантах. Девочка кружится, кружится,

разве что не взлетает. А вокруг все хлопают, хлопают и забрасывают девочку цветами.

Конечно!

Мне, правда, ещё слишком мало лет было, чтобы сразу чухнуть, что значит этот самый балет. Наверное, мне поначалу даже нравилось: надо что-то делать, приседать, ножки ставить нараскоряку, ходить друг за другом... Голос балеруны до сих пор помню: «Носки тянем! Спинку держим! И раз, и два, и три, и четыре. Не бросаем спину!»

Однако всё это интересно ну раз, ну два, но не всю жизнь. И мне балет надоел. Я не слушалась, шумела, мешала преподавательнице. Этого я, конечно, не помню, мне мама потом говорила, что я вела себя ужасно и на меня всё время жаловались. А вот что я хорошо помню, так это неуклюжего мальчика, который шёл за мной и постоянно насакивал сзади на пятки. Стаскивал балетки с ноги. Я его раз толкнула, два. А потом он меня так достал, что я повернулась и поколотила его. Не сильно, но так... как умела.

Я до сих пор помню, какой он был мягкий, как тюфяк, и как испуганно на меня смотрел, пока я его лупила. А взрослые ничего не делали. Они просто не ожидали от меня, да и я сама не ожидала, если честно. Я просто била его и била, и мне было приятно, что он такой испуганный и безвольный и ничего мне сделать не может. Я это чувство удовольствия до сих пор помню, хотя мне теперь и стыдно. А тогда было одно удовольствие и никакого стыда.

На этом для меня балет кончился. Я не расстроилась, если честно: я бы сама ушла, если бы знала, что

можно. А получилось, что я даже ни при чём. Ну, в смысле, не нарочно.

После этого снова возник вопрос, куда меня отдать. Папа предлагал на борьбу. Он говорил, мне там самое место, но мама от этого предложения становилась бледная, как стена: «Кого ты хочешь из неё сделать?! Это же девочка, а ты — борьба! Вырастет какая-нибудь бандитка!» — «Бандиткой она и без борьбы может вырасти, — говорил папа. — А там как раз научится, что слабых бить нельзя». — «Нет, нет и ещё раз нет!» Мама тогда была категорична.

Я хорошо помню этот разговор, они в комнате сидели, а я в коридоре, за дверью, и они думали, что я не слышу. А я впервые задумалась тогда, почему это слабых бить нельзя, хотя так приятно, но спрашивать не стала. Я как-то почувствовала, что об этом лучше не спрашивать.

В общем, родители подумали ещё, подумали — и отдали меня на музыку. На скрипку. Ничего более тоскливого они придумать не могли. Но у мамы вторая была золотая мечта на мой счёт (после балета), чтобы я была музыкантом. Скрипачом. Чтобы такая девочка-тростиночка, в красивом платье, и вокруг оркестр, и дирижёр, и все только на меня смотрят, и весь зал в слёзы, лишь я касаюсь смычка...

Ага, сейчас!

Я с этой скрипки ничего не помню, кроме того, что она была ещё тоскливей балета. Там мы хоть двигались, а на скрипке ничего нельзя было, разве что пальчики тянуть. Но, по счастью, всё это быстро кончилось, потому что зимой я прокатилась с горки на санках. Я хо-

рошо катилась, с самой большой горки, и кто же виноват, что там оказалось дерево и я сломала руку?

Мама очень переживала, а я обрадовалась. Потому что, оказалось, после перелома правой руки на скрипке уже нельзя играть. Никогда. Это как приговор. Диагноз такой, на всю жизнь. Если бы я знала сразу, что так можно, я бы ещё раньше с какой-нибудь горки прыгнула, вот честно. А так я опять была ни при чём. Ну, в смысле, не нарочно.

Но музыка всё равно вернулась в мою жизнь, через год, в виде пианино. И была до недавнего времени, почти до самого переезда. Как же я её ненавидела! И ладно бы это была школа. Ходят же нормальные люди в музыкалку, там у них предметы разные, сольфеджио, например, что-то ещё. Но моя мама категорически против любой школы. Поэтому она отдала меня к Антонине Полуэктовне.

Полуэктовне! Не Сергеевне, не Петровне, а вот прямо так! Что можно хорошего ждать от человека с таким отчеством? А моя мама ждала. Она за неё мёртвой хваткой схватилась: ах, это такой педагог, да её ученики на любых конкурсах побеждают, да в консерватории без экзаменов поступают!.. Но на мне Полушкин педагогический талант дал крен. Я её невзлюбила с первого дня. Она была огромной тётишей, и пахло от неё чесноком. Когда она наваливалась на меня сзади и начинала долбить по клавишам моими же руками: «Не-так-ты-что-ог-лох-ла!» — я думала, я грохнусь в обморок. Или прибью её. Или сначала прибью, а потом грохнусь в обморок. Потому что она так орала и так колотила по бедному пианино, что казалось, оно развалится.

Но так орала она недолго. Ровно до тех пор, пока не поняла, что мне вся эта музыка — в гробу и белых тапочках. Что я хожу к ней просто потому, что мне больше некуда и потому что мама. И что консерватория без меня не загноётся.

И когда она это просекла, то сразу от меня отстала. Я к этому моменту уже редко подходила к инструменту дома, а потом стала садиться за него только на уроке. Она догадывалась, разумеется, но ничего мне не говорила. Иногда напоминала, что было, дескать, домашнее задание, но я пожимала плечами, и на этом наше общение заканчивалось. Она уходила на кухню и там чем-то скворчала, включая телевизор с каким-нибудь сериалом на полную катушку, чтобы не слышать, как я по нотам складываю этюд Черни, который нормальные её ученики, будущие студенты консерватории, играют с листа с завязанными глазами.

Наконец в один прекрасный день я поняла, что мне это всё надоело. Я пришла к ней и с порога сказала, что это наше последнее занятие. Кончался март, надо было платить за апрель, но я сказала: «Всё, я больше к вам ходить не буду».

Как она обрадовалась! Я боялась, что она разорётся до истерики, — это же были её деньги, наверное, она на них рассчитывала. Но она обрадовалась, как будто я ей подарок притащила. Повела меня на кухню, налила чаю с земляничным вареньем, стала про жизнь расспрашивать. А я обалдела и не знала, что ей отвечать. Я так привыкла, что Полушка умеет только орать, нависать, хватать за кисти и шлёпать по клавишам или с презрением так, с поджатыми губами выдавливать

из себя: «Что, кто-то опять дома не открывал нотную тетрадь?» А она оказалась тётка как тётка. У неё кот был даже, а я о нём не знала, он все эти годы на кухне сидел. А тут он мне на колени залез — большой, тяжёлый, рыжий. И мы чай пили. И варенье у неё оказалось обалденное.

Короче, расстались мы друзьями. А маме я сказала только через неделю, когда она про деньги для Полушки вспомнила и удивилась, что я до сих пор не прошу. Она расстроилась, конечно. Обиделась на меня, звонила Полушке, извинялась, говорила, что ничего не знала... И правда ведь не знала. А я сидела, слушала, как она перед ней распинается, и чувствовала радость. Потому что впервые я что-то бросаю, и я тут при чём и очень даже нарочно. В общем, как сказал вечером папа, когда мама пыталась ему на меня жаловаться: это было первое моё в жизни сознательно принятое решение, и его надо уважать.

Но, если по правде, мама от меня быстро отстала, потому что к этому моменту Велька уже с лихвой осуществлял все её мечты. Потому что я — ну что я? Видимо, человек такой, ни к чему не пригодный. А Велька — это Велька.

Я стою перед зеркалом и смотрю в глаза своему отражению. Я тяжело дышу, у меня оглушительно колотится сердце. Темно, и я еле различаю собственные зрачки. Но всё равно смотрю, смотрю в них, в тёмную точку, и не могу оторваться.

Что со мной? Внутри всё клокочет. Что-то рвётся из меня, рвётся, и мне сложно это держать, хочется беситься и бегать. Со мной давно такого не бывало,

нет, честно, даже мама говорит, что я стала успокаиваться. Но вот сегодня — просто не могу! И я только что бесилась и бегала, висла на турнике, потом проносила по коридору, с разбегу прыгала папе на спину, пока мама не начала кричать, что он сломается, и что я уже не маленькая, и, Славка, посмотри на себя, как ты себя ведёшь, ты же не ребёнок! Велька сидел в комнате и крутил головой. А я хохотала, визжала, но вдруг поняла, что мне хочется плакать. Что ещё секунда — я лопну, меня разорвёт изнутри, и я зареву. Просто так, без причины. Совершенно непонятно почему. И я сорвалась в нашу комнату по коридору, в котором выключили свет, — но вдруг что-то мелькнуло впереди, и меня приковало.

Зеркало. В тёмной глубине — отражение. Мои собственные глаза. Я почти не вижу их, не различаю выражения лица. Так откуда я знаю, что я — это я? Кто сказал, что это — я? И что всё это моё: эта семья, и мама, и папа, и Велька. А главное, то, что я чувствую, — всё это на самом деле есть во мне, а не так, что я просто думаю, что оно есть, потому что у всех так бывает. Ну, типа это правда я хочу чего-то, например, ездить на лошадях, а не просто полно девочек этого хотят, поэтому и я тоже. Или что я правда люблю маму, папу и Вельку, а не считаю, что люблю их, потому что все же любят своих родителей и братьев.

Нет, так думать нельзя. Страшно так думать.

Но иногда я очень хочу быть другой. Я пытаюсь представить, как это — быть другой. Кем угодно, главное — не Велеславой. Я ненавижу это дурацкое имя, эту Велеславу-царевну. Её выдумала мама, не существу-

ет таких имён! В детстве я читала Линдгрэн и требовала, чтобы меня звали Рони. Потом был Булычёв, и я мечтала стать Алисой. Но мама сердилась, говорила, что имя даётся только один раз, а папа смеялся — какая же ты Алиса, Кроль, совсем не похожа! Как будто он знает, как выглядит Алиса. И как Велеслава. И почему Велеслава — это обязательно я?

Но главное даже не это. А то, что во мне. Что сейчас душит и не даёт мне сидеть спокойно. Отчего хочется закрыть глаза и кричать, кричать или бегать по квартире или, ещё лучше, по парку. Что стучит в горле, вот-вот лопнет и затопит слезами. Что говорит мне: это не ты, нет, не ты.

Но кто тогда — я?

Меня душит и сжимает, не могу больше смотреть в свои глаза. Сажусь под зеркалом и пытаюсь успокоить дыхание. Что же со мной? Ах, быстрее бы, быстрее что-нибудь уже случилось. Как будто что-то лезет из меня, ломает изнутри. Что-то хочет, чтобы я стала другой. А я и хочу, и боюсь, и не могу. Ещё не могу. Но уже хочу. Или нет, всё же больше боюсь... Ах, не знаю, я ничего уже не знаю!

Мы когда переезжали, мама на антресолях нашла свои старые тетрадки, и среди них была одна, с детскими рисунками, обклеенная вырезками из девичьих журналов. Называлась «Анкета». Там были разные вопросы, типа, сколько тебе лет, какой твой любимый цвет, книга, фильм, важные качества мальчика и девочки... Эту анкету мамины подружки в классе заполняли и клеили ей всякие эти штуки, а на первой странице заполнила она. Ну, типа, чтобы все знали, с кем общаются.

Мама так обрадовалась, когда эту тетрадку нашла, не могла успокоиться. Отфотала её всю, каждую страничку, разослала своим школьным подружкам, звонила им потом, трещала весь вечер. А я смотрела и понимала, что ни за что бы не смогла на эти вопросы ответить. И не потому, что у меня нет любимых цветов и фильмов. Просто — ну разве это я? Я — что-то совсем другое, то, что я сама не могу ни определить, ни поймать. Да и зачем нужна определённости? Вот ещё вчера мне ничего не хотелось, только бегать и беситься. А потом не хотелось бегать, а только сидеть и смотреть в одну точку. На худой конец книжку читать. А сейчас вообще ничего не хочется, только плакать. А почему — я сама не знаю.

Завтра иду в первый раз заниматься на лошадях. Может, меня от этого так колбасит? Когда-то я бредила лошадьми. Требовала покупать мне всё с коняшками: майки с коняшками, куртки с коняшками, сумку, рюкзак, кружку, пенал... Качала из Интернета фотки тоннами! А сейчас смотрю в свои глаза и не понимаю: действительно ли это то, чего я на самом деле хочу? А вдруг нет? А вдруг я уже хочу чего-то другого? И просто не знаю ещё, а то, что внутри, что лезет из меня и ломает, — оно знает, оно уже всё про меня давно знает.

О, как это страшно! Страшно, что надо непременно кем-то быть. Решить однажды — и быть. Не в смысле профессии, хотя, наверное, и это тоже. А в смысле — вообще чем-то понятным, определённым.

Как тебя зовут? — Велеслава.

Сколько тебе лет? — Тринадцать.

Любимый цвет? — Синий.

Любимое животное? — Лошадь.

Написал однажды — и всё, ничего нельзя поменять.

Нет, нет, я так не хочу!

Приоткрывается дверь, свет ложится через коридор, но не дотягивается до меня. Я остаюсь в темноте.

Дверь закрывается.

Велька. Стоит. Вглядывается в темноту. Почувствовал меня и вышел. Я знаю, он меня всегда понимает. Стоит, привыкает к потёмкам, но уже слышит меня. Уже может мне говорить.

Только молчит. Сейчас даже про себя Велька молчит.

— Привет, братишка. Я нормально.

Вру. И Велька это знает. Он не слушает слова, он слушает внутри. Но я и там сейчас вру.

— Так... просто... что-то... накатило. Ну, знаешь...

Нет, он не знает. Он маленький ещё. Но и потом, думаю, не узнает. Велька уже сейчас понимает, чего хочет от жизни. Он талантливый. Он не такой, как все. А я ни на что не годная. И совсем не понимаю себя.

— Тоторо, — говорит вдруг и подходит ближе. Встаёт рядом. Кладёт руку на плечо. — Тоторо. — Поднимает другую вверх.

Я поднимаю глаза. Как будто там и правда может быть кто-то, большой, пушистый и добрый.

Но там никого. Пустой коридор. Родители в зале. Всё тихо.

— Я не понимаю, Вель. Извини, я сейчас тебя не понимаю.

— То...

— Нет, я слышу, что ты говоришь «Тоторо». Но я не понимаю, какой Тоторо. Из мультика?

Мотаёт головой. Ясен пень, не из мультика. У нас с ним свой Тоторо. О котором нельзя рассказывать никому. Даже папе. И тем более маме.

— То... торо... ска...

— Тоторо скажет? Что?

Молчит. Смотрит на меня.

— Сорян, брат. Я тебя не понимаю.

Поворачивается. Уходит в нашу комнату. Через минуту слышу — окарина играет.

Это случилось, когда мы только переехали и первый или второй раз пошли в парк гулять. Мы ещё ничего там не знали и просто бродили, куда ноги понесут. Была весна, снега уже не было, но землю ещё прихватывало прозрачной коркой. В оврагах стояла вода, и была жуткая грязь. Мама с папой шли по дорожке, а я носилась вокруг, обегая лужи. Велька, смешной и неповоротливый в резиновых сапогах и непромокаемом комбинезоне, шлёпал напролом. Или же вдруг садился и долго рассматривал что-то в воде, в кустах, а родители останавливались и его ждали. Я успевала куда-нибудь сгонять, а они всё стояли.

У нас в парке есть красивая берёзовая аллея. Мы как раз на неё вышли, я успела туда-обратно сбегать, родители до середины дошли, смотрят — а Вельки нет. Подбегаю, мама говорит:

— Глянь, он там где-то, — и машет в начало аллеи.

Бегу — Вельки нет. Бегу обратно — тоже нет. Уже сумерки, не видно ничего, кругом блестит талая вода.

На аллее три фонаря, в начале, середине и конце. Родители под средним фонарём на лавочку сели и в ус не дуют. Блин, думаю. Нехорошо ругаться, но всё равно: блин. Что делать-то? Ладно, не буду их волновать, найду сама.

Пошла медленно, вглядываясь в кусты, — может, присел где-то? Так и есть: присел, если б не комбез ядовито-жёлтого цвета — фиг увидишь.

За берёзами и кустами растут дубы — огромные, раскидистые. И Велька был возле одного. Я подошла, точнее, пролезла через кусты, как медведь:

— Ты чего здесь застрял, тебя мама ищет!

Поднялся, обернулся. Улыбается. Он мне маленьким-маленьким показался рядом с дубом. Крошечным, как мышонок. Запрокинул голову, глядит на дуб снизу вверх. А он не кончается. Не дерево — целый мир, ветки чёрной графикой чертят вечернее небо. Сумерки, а оно синее-синее, как вода. И даже синее. И глубже.

— Идём, — подхожу и трогаю его за плечо. — Мама переживать будет.

«Тоторо. — Обернулся. Смотрит в глаза. Лицо счастливое-счастливое. — Я нашёл Тоторо!»

И снова на дерево. Я тоже голову запрокинула, смотрю — это не просто дуб: у него половина ствола заложена кирпичом, оштукатурена и окрашена, что-то там нарисовано даже, вроде как холмы и река, но в темноте не разобрать.

— Дубик болеет, — говорю я, и мне аж противно, как сюсюкаю. Я обычно так не делаю, сама этого терпеть не могу, да и Велька не любит.

Он обернулся, покачал головой:

«Не болеет. Он живой. Он Тоторо».

И снова на дерево.

А я стою и боюсь пошевелиться. Боюсь снять руку с его плеча. Потому что до меня дошло, что происходит: что мы с Велькой разговариваем. Такого никогда ещё не было. Это просто невозможно. Но как?!

— Вель, — говорю тихонько, чтобы не спугнуть, — а почему Тоторо?

Обернулся:

«Потому что он главный. Других много, но он главный. И самый большой».

И опять на дерево. А я стою, и мне совсем страшно. Потому что понимаю, что Велька не открывал рта. Что он улыбался, а мне казалось, что говорит. А он молчал, просто я его услышала.

Со мной это впервые тогда случилось.

— А где другие? Ну, если он Тоторо, то где другие? Ты видел? — Я понимала, что несу ерунду, но мне так страшно было, что лучше говорить хоть что-то, прятаться за словами.

Но Велька не ответил. Руку протянул и положил ладонь на дерево. Кора толстенная, в ней наросты, и его ладошка крошечная, белая, такая хрупкая на фоне этой коры, что мне захотелось её спрятать и самого Вельку тоже, — мне часто хочется спрятать его ото всех, чтобы никто не обидел.

Я не выдержала и прикрыла его руку своей.

И тут что-то случилось. Мне показалось, что у меня в голове включили музыку. Грянуло что-то большое, торжественное, как будто Бах, и орган в огромном-преогромном зале, храме, когда смотришь вверх и

не видишь потолка, только бесконечные, уносящиеся ввысь колонны.

Но я тут же поняла, что это не Бах. Это дерево. Это дуб, его ствол, каждая ветка, уходящая в тёмное уже небо, — всё звучало. Громкая, торжественная мелодия, она текла на нас, заполняла голову, и в неё вплетались другие, повыше, потоньше, позвонче, как колокольчики. Они окружали нас, и я догадалась: это парк, сам парк, каждое дерево и все вместе. И там, где я слышу музыку — просто музыку, и мне этого хватает, чтобы не сойти с ума, — Велька разбирает разные голоса, для него это как песня или даже как слова, речь, нескончаемая история леса.

И так у него всегда. Просто он мне сейчас это показал.

— Тоторо, — говорю, поднимая глаза. Ветки ползут вверх, прорастают в небо и нигде не кончаются.

Окарина за стенкой стихает. Чувствую, что Велька улыбается там, в темноте.

Глава 3

Первое, что я чувую, когда мы входим на следующий день в ворота конюшни, — запах! Он прямо сшибает — тёплый, сильный и пряный — запах сена и лошадей. Совершенно незнакомый, он немного тревожит, но не раздражает.

— О, деревней запахло! Навоз, — говорит папа, тоже вытягивая воздух, и подмигивает мне: — Как, Кроль, не передумала?

— Да нет, — говорю. — Запах как запах. Мне нравится.

— Память предков заговорила, — усмехается он.

— Осторожно! — раздаётся в этот момент, и я прыгаю в сторону.

Мимо идёт лошадь. Большая, белая от носа до копыт. Какая-то просто огромная, с широченной спиной, длиннющим белым хвостом и выющейся гривой. Очень красивая лошадь, она плывёт мимо, как бригантина, цокая подковами об асфальт. Я не сразу замечаю, что ведёт её девчонка. Мелкая, младше меня. Такая сосредоточенная, в чёрном шлеме, в бежевых брючках и с палочкой. Причём палочка розовая и со стразиками. Чес-слово!

У меня чуть челюсть не упала. Я ожидала, что здесь всё сурово, что здесь сильные люди, а вот, пожалуйста, — мелкая гламурная девчонка. Нормально?

— Кроль, иди познакомься!

Папа стоит поодаль, с высокой худощавой девушкой. У неё короткая стрижка и светлые волосы. Она стоит навытяжку, ноги расставлены, уверенно так, руки за спиной, а взгляд — прицельный. И говорят явно обо мне.

— Да нет, тринадцать — это нормально. Позже ещё начинают. Рост уже есть, можно на любую сажать. Только секция — это учёба, она с сентября начнётся. Три раза в неделю. Два раза в месяц конкур, — доносится до меня. — Сейчас занятий нет. Смотрите, вы можете пока просто походить, а к сентябрю решить: понравится — не понравится...

— Кроль, это Елизавета Константиновна, — обращается ко мне папа. — Наш тренер. А это Веле... — собирается представить меня, но я перебиваю:



— Валя! Валентина, — и умоляюще смотрю на него. Я ещё вчера твёрдо решила: никакой Велеславы. Хватит. Надо быть нормальным человеком, а не этой царевной, которую мама выдумала. Я Валя!

— Валя? — Папа смотрит во все глаза, но ничего не спрашивает. Видимо, решает спросить позже.

Фух!.. Прокатило. Спасибо, па! Я потом всё объясню. Как-нибудь потом.

— Уже занимались или в первый раз? — спрашивает Елизавета Константиновна. Она всех наших переглядываний не замечает. Спрашивает вроде как меня, но смотрит на папу.

— Первый, — отвечает.

А вот и нет!

— Пап, я не первый! Я уже два раза на коне сидела! Ты что, забыл? У дяди Паши на Алтае и тогда ещё, в Сочи, на площади.

— Ну, Кроль, вспомнила! Это сто лет назад было!

— Ну и что!

— Сидела — не считается, — перебивает Елизавета Константиновна. — Ладно, пойдёмте, лошади уже на манеже. Приходите на занятия минут за пятнадцать, хорошо? Чтобы почистить, поседлать. Сначала вам будут лошадей собирать, потом научитесь сами.

И она устремляется твёрдым шагом к воротам, а мы с папой следом. Оказавшись у неё за спиной, папа снова поднимает брови, делает недоумённое лицо. Я изображаю что-то вроде «ну, па, извини, так надо, просто поверь — надо. Я же играю с тобой в разведчиков. Вот и ты давай со мной».

Нет, я, конечно, ничего такого не говорю. И он качает головой — видно, я его не убедила. Но объясняться некогда: мы уже входим в манеж.

Изнутри он похож на кусок пляжа, попавший в теплицу: сверху белая плёнка, под ногами — песок. Со стороны входа — деревянная стенка немного ниже человеческого роста, за ней зрительские кресла в три ряда. По кругу шагает белая лошадь, на ней девочка с розовой палочкой. В центре стоят ещё два коня, один поменьше, в чёрную крапинку, второй повыше и покрупнее, в крапинку коричневую. Обоих держит под уздцы девчонка моего примерно возраста.

Елизавета Константиновна идёт к ней, папа тоже, а я делаю шаг — и тут же отскакиваю. Потому что мимо проплывает величественный и ужасно высокий рыжий конь. На его спине — крошечная девчонка, ей лет десять, наверное, если не меньше, в чёрном шлеме она выглядит как грибок.

Конь проходит покачиваясь; качается рыжий хвост.

— Понч, осторожно! — кричит Елизавета Константиновна. — Аглая, расшагиваем коня, расшагиваем. Активней!

Аглая. Кому-то тоже не повезло с именем. Смотрю на хвост, удаляющийся по манежу.

— Валя, ты где там? — зовёт меня Елизавета Константиновна.

И я поспешно иду к ним.

Папа уже в седле — на том коне, который повыше. Сидит выпрямившись, прислушивается к ощущениям. Елизавета Константиновна держит его коня под уздцы.

— Знакомься, — говорит, указывая на другого коня и девчонку рядом с ним. — Это Чибис, а это Таня. — Девочка даже не улыбается. Взгляд из-под чёлки серьёзный, взрослый. — Она будет тебе помогать. Но слушаться ты должна меня, поняла? — Киваю. — Значит, так, запоминай: к коню подходим слева. Всегда. Дальше: повод на шею, стремена опускаем. Так. Теперь левую ногу в стремя, руку сюда. — Стучит по шее коня возле седла. — Толкайся — и сели. Хорошо.

Я даже не успеваю понять, как у меня получилось, — но уже в седле и смотрю на тренера сверху вниз. Папа подмигивает.

— Теперь стремена перекидывай...

— В смысле?

— Просто, через шею. Крест-накрест. — И Елизавета Константиновна делает это сама.

Я глазом не успеваю моргнуть — остаюсь без стремян.

— А как же...

— Учимся так. Стремена — это потом, первые занятия без. Да и обувь у тебя неподходящая. Держи повод. Берёшь в кулак, как будто стаканы — вот так. Пропускаешь снизу — над мизинцами. Сверху зажимаешь большими пальцами. Хорошо. Запомнила? Между кулаками должен помещаться ещё один кулак, не больше. Отлично. Рука мягкая, поняла? Это твой контакт с ртом лошади. Дёрнешь грубо — сделаешь ей больно.

Я обмираю: я совсем не хочу делать лошади больно. А тренер говорит и поправляет, ставит мои руки, лепит кулаки, пропускает между пальцами повод. Я тупо смотрю, как будто это не со мной, как будто это не мои руки. И конь подо мной, и чёрно-белая грива так

близко, и пахнет тёплым, живым... От счастья становится щекотно.

— Так, сидишь прямо, локти держишь сзади. Носок тянешь вверх, пятку вниз. Это очень важно. И контакт ногой, чувствуешь? — Теперь она лепит мою ногу. Оттягивает носок, плотно прижимает голень к боку коня. Он от этого делает шаг в сторону. — Видишь, он отходит от ноги. Это называется шенкель¹. Давишь сильнее — он поворачивает. Ослабила — идёт вперёд. Сжала с обеих сторон — пошёл.

— А останавливать?

— Сейчас научишься. Поехали. — Она отпускает мою ногу и чуть отходит.

— Как?

— А что я говорила? Давишь ногами с обеих сторон и вперёд.

Я давлю. Но ничего не меняется. Давлю ещё. Давлю изо всех сил. Слышу, как Чибис с шумом машет хвостом.

— Ну, ещё! Давай! Можно пяткой ковырнуть.

— Это как?

— Вот так. — Сильные пальцы снова хватают меня за щиколотку и чуть подворачивают ступню. Пяткой чувствую бок Чибиса. Но ему без разницы, хоть пяткой, хоть как — он никуда не идёт. — Ну же, Валя, сильней! Ты что как неживая! Его надо просить, так он никуда не поедет. Чиб! — окрикивает коня. — Ну-ка, не наглей! Это что ещё такое?

¹ Ш е н к е л ь — часть ноги всадника от щиколотки до колена, которая прижимается к боку лошади. Надавливая ею с разным усилием, человек заставляет коня менять аллюры. (Здесь и далее примеч. авт.)

И не то из-за этого, не то я и правда как-то особенно его сдавила, но Чибис вдруг вздыхает и нехотя трогается с места.

Я ахаю.

— Молодец! — слышу сзади. — Так и едем. Спинку держи, на уши не вались. И пятку. Пятку вниз, носок вверх. Не забывай.

Попробуй тут не забыть. И попробуй не горбиться, если хочется за что-то срочно схватиться — за шею, за седло, за гриву, хоть за что-нибудь.

Конь шагает мерно, и земля подо мной как будто плывёт.

— Чибиса объезжаем! — кричит Елизавета Константиновна и отходит к папе. — Станислав, теперь с вами.

А мы идём. Мы медленно двигаемся вдоль стенки. Чибис кажется усталым и старым. Остальные двигаются бодро: и белая лошадь, и высокий рыжий конь. А Чибис еле переставляет ноги. Странно так — сидеть на живом существе. Он идёт, спина качается. А ты на нём сидишь, и вроде бы так и надо. А ещё странно, что рядом идёт человек, а вы с ним не общаетесь. Вы даже ещё не знакомы толком. Смотрю в спину девочке. Синяя толстовка, хвост из светлых волос. На ногах, поверх синих же брюк, — разноцветные полосатые гольфы. И у тренера такие же, замечаю я. Это, наверное, тоже специальная форма. Как и бриджи.

— А у Чибиса масть как называется? — спрашиваю. Надо же о чём-то говорить. Сверху он кажется очень занятым, чёрно-белым, как будто на снег кинули прошлогодних, уже почерневших листьев.

— Чубарый, — отвечает Таня.

— А какой он породы? — спрашиваю опять. Пусть знает, что я не просто так, что я тоже знаю, что лошади бывают разные, у них породы. Я даже готова какие-то назвать, рысака, например, или эту, ахалтекинца.

— Алтайская, — кидает Таня не оборачиваясь.

— О, а мой дядя на Алтае живёт! — вырывается у меня, но тут же себя одёргиваю: слишком уж по-детски получилось. — А Чибису много лет? — спрашиваю серьёзней.

— Восемь, — бросает Таня совсем уж коротко.

— Ох, старый...

— Почему вдруг старый? — фыркает она. — Это нормальный возраст для лошади. Вон Пинг-Понг старый, ему двадцать скоро. А этот — нормальный. Просто ленивый и толстый.

— Который Пинг-Понг?

— Рыжий, — и кивает на высокого коня.

Двадцать! Этому красавцу двадцать, и он старый?! Нет, я ничего не понимаю в лошадях.

— Валя, про спину не забывай, — долетает голос Елизаветы Константиновны. — А руки кто поднял? Я всё вижу. Давай, не ленись. За всем надо следить, одновременно. Остальные — поехали рысью!

Белая лошадь и рыжий конь трогаются быстрее, пробегают мимо нас чаще. А мы идём всё так же неторопливо, как будто во сне.

— Валя, смотри вперёд, что ты ему на уши смотришь? Глаза поднимаешь — спина сразу выпрямляется. Вот. Так лучше.

Я поднимаю глаза и вижу впереди папу. Он тоже медленно качается на спине своего крапчатого коня. Вид у него забавный. Он, наверное, ждал, что мы с

ним поскачем, как заправские гусары, а мы так — чик-пык. Но внутри всё равно гуляет что-то непонятное, перехватывает дыхание, становится то жутко, то весело. Хочется зажмуриться и...

И вдруг конь подо мной замирает как вкопанный.

У меня, наверное, очень растерянный вид. Но Елизавета Константиновна говорит как ни в чём не бывало:

— Молодец, Валя, остановочка хорошая. Теперь пожди пять секунд, и едем дальше.

— Как?

— Как раньше: шенкелем посылаешь коня и вперёд.

На самом деле я хотела спросить, как у меня получилось его остановить, но я не стала позориться — получилось, и хорошо. Хотя не факт, что я сумею этот фокус повторить снова.

А пока надо заставить его пойти. Сжать шенкелем. Я жму, но опять без результата. Чибис стоит, как и раньше, и только вздыхает. Это он от тоски или плохо себя чувствует?

Пока я так мучаюсь, слышу, что Елизавета Константиновна раздаёт команды. И у меня такое чувство, будто попала в другую страну.

— Аглая, вольтик на рыси у красных цветов. И на какую ногу облегчаешься? А надо на какую? Даша, я сколько раз буду говорить: правый повод короче. Конь не бежит со спущенными верёвками.

Хотя он бежит. Все они чудесно бегут. И только мы с Чибисом стоим и уже хором вздыхаем. И Таня никак нам не помогает. Терпеливо ждёт, что мы тронемся.

— Валь, ты сегодня куда-нибудь поедешь уже? — Елизавета Константиновна с папой проходит мимо нас. — Чибя! Ты не обнаглел вконец?

И Чибис словно просыпается от её окрика, трогается за папиным конём, встаёт ему в хвост. Меня опять качает: вправо-влево, вправо-влево.

— Сейчас мы тоже поедem рысью, — слышу Елизавету Константиновну, и они с папой выходят в центр манежа. Она цепляет на его коня длинную шлею, отходит на несколько шагов и цокает языком. — Пегас, рысь!

И он скачет! Правда скачет! Папа сидит сосредоточенный, видно, что ловит баланс.

— Пятки вниз, носок тянем, плечи назад! — долетает голос Елизаветы Константиновны. (Господи, где-то я это уже слышала...) — За руками следим! Не болтаемся, куда, куда вас заболтало?

Видно, что папа старается изо всех сил: тянет, выпрямляет, следит за руками. Сложная поза всадника разваливается через секунду, папу начинает качать и подбрасывать, но он собирается — и опять пятки, носки, плечи. Так они скачут в одну и в другую сторону, потом Елизавета Константиновна отцепляет шлею от уздечки.

— Хорошо, хорошо, — хвалит. — Угощайте коня. Валя, следующий!

Во мне всё ойкает, а Таня уже поворачивает моего Чибиса, и мы идём в центр. Щёлкает карабин, Елизавета Константиновна отходит в сторону:

— Чибя, рысь!

Я даже не успеваю понять, что происходит, а подомной уже всё трясётся. И мне кажется, что я вот-вот упаду. Что я уже соскальзываю из седла. Налево! Нет, направо! От ужаса хватаюсь за луку, сжимаюсь, разве что не закрываю глаза.

И Чибис останавливается. Причём так резко, что меня и правда чуть не вытряхивает.

— Ну, куда?! — возмущённо кричит Елизавета Константиновна. — Ты чего повод бросила? Так нельзя. Села, откинулась в седле — и потекла спокойно. Твоё дело сейчас держаться, больше ни о чём думать не надо. Давай снова: берём повод...

— Погодите, погодите! Чем держаться?

— Ногами. На лошади мы всегда держимся только ногами. Все вот эти штуки с бросанием повода, с гривой — ты это сразу забудь. Поняла?

— Ага...

— Ну, молодец. Давай садись. Чибя! Рысь!

И она снова щёлкает языком, и снова подо мной всё трясётся и едет, но я держусь. Я изо всех сил держусь ногами. Ужасно хочется закрыть глаза, но я этого не делаю. Ужасно хочется схватиться за гриву — но я и этого не делаю тоже. Я просто сижу. И еду. И трясусь.

— Хорошо, — говорит Елизавета Константиновна. — Хорошо. Смотришь вперёд. Руки держишь. Вверх не поднимаешь, локти сзади. Так. Молодец!

Тряска кончается, Чибис переходит в шаг. Я выдыхаю. Мимо проходит папа, сейчас Таня ведёт его коня. Он улыбается мне: ничего, Кроль, держись! Пытаюсь улыбнуться в ответ.

— Так, теперь в другую сторону, — говорит Елизавета Константиновна.

Это называется — рано обрадовались...

И всё повторяется. Потом мы опять идём по кругу, а все бегут мимо рысью. Потом опять рысью скачет сначала папин Пегас, потом мой Чибис, и меня то

трясёт, то качает, а Елизавета Константиновна напоминает через каждый шаг: «Руки! Ноги! Плечи! Носки!» И я понимаю, где это уже слышала, — на балете, на ненавистном балете. Но стараюсь, то одно тяну, то другое выпрямляю, только всё снова сгибается, съёживается и скрючивается.

Потом наших коней выводят в центр, и Елизавета Константиновна кричит:

— Остальные, подтягиваем повод, готовимся к галопу. Поехали по готовности!

И у меня захватывает дух. Потому что они скачут, и это так красиво! Белая большая кобыла и рыжий конь — они скачут и скачут, такие статные, такие летящие, а я не могу отвести глаза. Неужели я тоже так буду когда-нибудь? Мне прямо не верится, и хочется, и страшно — чтобы вот так, только песок из-под копыт, и дробное «тыгдым, тыгдым», аж весь манеж гудит. И дыхание перехватывает от красоты...

— Идём, идём! Ему нельзя стоять, — слышу Таню.

Она чуть тянет Чибиса. Я послушно сжимаю его ногами, и мы трогаемся — шагом, еле-еле. А вокруг летят, летят...

— А ты тоже здесь занимаешься? — Мне хочется поговорить. Потому что сил нет смотреть, как красиво скачут кони. Потому что сил нет думать, что я не смогу так. Никогда.

— Ага. — Таня не оборачивается.

— А давно?

— Два года.

— Два года! Ты, наверное, уже всё умеешь?

— Если бы... — Мне кажется или она правда вздыхает? — Чтобы всё уметь, знаешь сколько надо заниматься!

— Сколько?

— Ну, лет десять.

— Десять?! Да ладно! Чтобы вот так ездить галопом — надо десять лет?!

— Что ты! — Кажется, она смеётся. Не оборачивается, и я не вижу, но по голосу — кажется, да. — Это быстро. Я другое имею в виду.

Но мне неважно другое. О другом я даже подумать сейчас не могу.

— А за сколько научишься?

— Ну, я не знаю. Полгода. У всех по-разному. Смотря ещё сколько заниматься в неделю.

— А ты сколько?

— Я в группу хожу. У нас три раза тренировки.

Три раза в неделю. Вот это всё — три раза в неделю! Я пытаюсь представить. И понять, хочу ли я себе такого. Спинку держать. Пятку тянуть. Балет был очень давно, но я прекрасно помню, как это противно. А я туда только два раза в неделю ходила. А тут ещё тряска, ноги сводит и куча непонятных слов...

И — галоп. Вот этот, летящий, как ветер, как свобода.

— А это всегда так сложно или потом проще?

— Я не зна-аю... — тянет Таня. — Первый раз сложнее, наверное. Потом привыкаешь. Я не помню уже.

Вокруг едут рысью, а потом переходят в шаг.

— Чибис, в центр, останавливаемся, слезаем! — кричит Елизавета Константиновна.

Она уже остановила папиного коня. Таня тормозит моего. Он послушно замирает. Я переносу ногу и чуть не падаю. Еле держусь, хватаюсь за гриву.

— Ты чего? — Таня с тревогой глядит на меня.

— Ноги. — Я стараюсь улыбаться. Какое это прекрасное чувство — земля! И ничего не трясётся, не едет никуда.

— А, это да. Но потом привыкаешь.

И улыбается тоже. По-настоящему, а не как я. У неё хорошая улыбка. Лицо простое, широкое и круглое, а улыбка — добрая и открытая. Это меня почему-то успокаивает. Больше, чем её слова.

— Валя. — Протягиваю ей руку.

Она смотрит с удивлением, потом пожимает. Рука у неё сильная, и я долго ещё чувствую пожатие её пальцев.

Глава 4

Этим летом мы никуда не поехали. Обычно каждое лето мы куда-нибудь уезжаем — на Кавказ, например, или в Киргизию. Там мы поселяемся с мамой и Велькой где-нибудь, а папа уходит в горы. Не один, конечно, с друзьями. Два года назад мы даже в Грузию ездили, вот там было вообще клёво! Велька даже мычать перестал и начал что-то вменяемое произносить время от времени — так там было красиво. А папа вернулся совсем бешеный. Он же альпинист, ему без гор нельзя. Они и с мамой познакомились в горах, но только она ужасная трусиха, она всего этого боится и уже давно с ним не ходит. Трясётся всё время, пока папа в горах.

«Я тебя как на войну отпускаю», — говорит, пока он собирается.

А мне нравится, когда папа там. Точнее, когда он возвращается, — он совершенно другой, как будто из космоса, такие у него глаза неземные. Или нечеловеческие. Заросший весь, лохматый, волосы на солнце выцветают, а лицо обгорелое — белые брови и белые волосы на тёмном-тёмном лице. Ужасно красиво! И он такой сильный, весь просто накачанный силой, так что с ним особенно хорошо. И пахнет от него по-другому, не как в городе: дымом, и лесом, и ещё чем-то, мне в детстве казалось — ветром. Я ужасно люблю эти первые дни, когда он приходит.

Но в это лето поход отменился. Папа сказал — из-за парка.

Это за завтраком было.

— В смысле? — не поняла я.

— Ну ты подумай, — отвечает мама с раздражением.

Стоит у плиты и не сводит глаз со своей турки. Она керамическая, крошечная, красного цвета, и мама ею ужасно дорожит — её сделала мамина подруга, когда они учились в художественном училище. Та самая, которая потом Вельке окарину слепила. Я помню, когда мелкая была, хотела с этой туркой поиграть, но мама так раскричалась, что я сама турку на место вернула и даже вымыла. На всякий случай.

— Я подумала, — говорю. — И всё равно не понимаю, чем парк может нам помешать куда-нибудь поехать.

— Мы квартиру поменяли? Поменяли, — говорит мама. — А на поездку знаешь сколько надо? И вооб-

ще, пора входить в режим экономии. Нам ещё Вельку лечить.

— А-а... — Я вздыхаю и гляжу в окно. Там колышутся берёзы. Всё как всегда — буднично и банально.

— Не грусти, Кроль, — говорит папа. — Ездят для чего? Чтобы узнать что-то новое, так? Смотри: есть метод познания интенсивный, а есть экстенсивный. Знаешь?

Я неопределённо качаю головой. Кажется, я читала что-то такое. Вроде как по истории. Или по географии... Но лучше пусть папа объяснит. Тем более что ему самому хочется.

— Экстенсивный — это вширь. — Он расставляет по столу пачки с мюсли. — Каждое лето — новая страна, новые впечатления. Что успел увидеть, то и хорошо. Времени мало, всё не успеешь, а на следующий год едешь в другое место. И вроде как много где побывал, но видел — ну, что успел за две недели, то и увидел. Понятно?

Я киваю. Велька тоже. Он внимательно следит, что папа делает с нашими мюсли.

— А интенсивный? — спрашиваю.

— А интенсивный — это вглубь. — Папа сгребает все пачки вместе. — Это забуриться куда-нибудь и исследовать. Если времени мало, на следующий год возвращаешься — и снова исследуешь. Вроде как не много где побывал, зато знаешь эти места очень хорошо: чем там люди живут, как говорят, что едят и что делают.

— Второй лучше, — говорю, глядя на гору мюсли.

— Оба хорошие, только по-разному. На интенсивный метод обычно времени не хватает. Ну или терпения.

— И денег, — вставляет мама.

Она уже налила себе кофе, стоит, прислонившись к разделочному столу, прихлёбывает из крошечной чашечки и смотрит на нас с папой с улыбочкой. Она умеет на нас так смотреть, я не всегда понимаю, чего она хочет.

— Но в этом году нам повезло! — провозглашает папа. — В этом году у нас интенсивный метод познания, прямо не уезжая из дома!

И подмигивает мне, и ставит пятерню — бей! Я бью. И подмигиваю тоже. И пусть мама смотрит сколько влезет, всё равно ей нас не понять.

На самом деле я про поездку просто так спросила. Меня вполне устраивало, как всё складывается в это лето. Потому что папа оказался прав: человеку нужен лес. Ну или хотя бы парк. Тогда дом становится настоящим домом, куда хочется возвращаться.

И парк стал нам домом. Пока мы бегали в нём по утрам, пока гуляли в выходные все вместе, пока я уходила туда днём одна и бродила вдоль прудов, по дорожкам и без, — он открывался всё больше и больше, становился понятным. Своим. Мы уже знали, где обитают белки, и брали для них семечки и орехи. Мы видели уток, которые выводили птенцов на пруды. Они смешно квохтали и торопили своих детей перейти тропку перед нами. Мы знали, где растут самые большие, самые величественные дубы. В общем, мы вполне обжили его, наш парк.

А два раза в неделю мы ходили на конюшню. Мы съездили с папой в магазин и купили специальные брюки со вставками на коленях, ботинки с крагами и каски — и мама ничего не сказала против. Мы уже ездили без корды¹ на рыси и галопе, и это произошло как-то само собой. Папа так вообще как будто всю жизнь сидел в седле и начал ездить галопом раньше меня.

А с сентября маячила детская секция. О ней постоянно говорили девчонки на конюшне: ах, когда будут группы, да вот когда все вернутся... Летом-то не очень много детей: я, да Таня, да двое маленьких — Даша с Аглаей. Кого никуда не увезли. Причём Таня никогда с нами не ездила, она приходила на манеж, помогала тренеру, но занималась в другое время. Так что обычно ездили мы с папой и ещё какие-нибудь взрослые. Ну и Даша с Аглаей, куда же без них.

И я уже ждала, когда начнутся эти самые группы и я буду заниматься с Таней. Мы вообще-то не много общались, так, привет-пока, но она казалась мне прикольной, и я надеялась, что в группе удастся с ней нормально подружиться. А кроме того, казалось, что в группе, где все ровесники, будет интересней. Я не знаю, почему мне так казалось. Просто.

Но, конечно, этого нельзя было говорить папе. Только когда он вдруг спросил, я растерялась и не сообразила.

Это было по дороге на тренировку, где-то в конце августа.

— Кроль, Елизавета Константиновна спрашивает, записывать ли тебя в секцию, — говорит он. — Что

¹ К о р д а — длинная шлея, которую используют для управления лошадью на расстоянии, при тренировках либо без всадника, либо с новичком.

скажешь? Просто, смотри, там дети занимаются уже по два-три года. Тебе не тяжело будет с ними?

— Нет, пап, что ты! Это же, наоборот, интересно. Всё-таки хоть не одна.

— Одна? Разве ты сейчас одна?

Он смотрит на меня с удивлением, и я кусаю себя за язык: проболталась. Но не могу же я ему сказать: пап, я просто хочу с кем-то общаться, а где мне это делать? Потому что он скажет: за друзьями бегать нельзя. Друзья должны сами появляться. Он мне уже сто раз это говорил. Но ему-то хорошо, у него друзей — вагон, и это они за ним бегают, потому что он клёвый. Я бы сама за ним бегала. А мне что прикажете делать?

Но папа, похоже, не обиделся.

— «Малыш, но я же лучше, лучше собаки!» — цитирует мультик и делает несчастное лицо. Играет.

— Лучше, конечно. Просто ты же... Ну, я не знаю... Совсем другое.

— Ладно, Кроль. — Он смеётся и треплет мне чёлку. Кажется, всё понял. — Я сегодня поговорю с Елизаветой Константиновной.

Во мне плещется радость, а мы как раз входим в ворота конюшни и сталкиваемся с Таней.

Она выдёргивает один наушник из уха и бросает нам:

— Здравствуйте, у вас Изумруд, — это папе, — а у тебя Спарта. И сегодня у вас конкур.

— Что?!

Я ослышалась? Только вчера мы с папой смотрели видосы с этими прыжками через барьер, и я думала: «Это так сложно! Я никогда не сумею». И вот — пожалуйста! А вдруг у нас не получится?

Но я спрашиваю не это. Я спрашиваю другое:

— Спарта? Но почему?

— Так Елизавета Константиновна сказала. — Таня пожимает плечами. — Да она хорошая, не бойся! И на ней начинать проще, она сама на барьер скачет, только держись.

Вот это-то мне и не нравится: «только держись».

— А Изумруд? — спрашивает папа, и по его голосу непонятно, он серьёзно волнуется или меня передразнивает.

— О, Изик вообще лучший! — улыбается Таня. — Я побежала, мне ещё седлаться, я с вами сегодня занимаюсь. — И уходит в большую конюшню, вставляя по пути наушник обратно.

Я уже и не знаю, что чувствовать. Я же так хотела заниматься с Таней! Но конкур. Но Спарта! Которую тоже надо седлать.

Я срываюсь и бегу в конюшню. Но другую — для маленьких.

У нас в клубе всего по два: две раздевалки — для взрослых и для детей, две конюшни — для больших лошадей и для пони. Спарта вроде и не пони, но ростом не вышла — то, что называется пони-класс, поэтому стоит в маленькой конюшне. Она очень неказистая лошадка. Мелкая, худенькая, гнедая, с маленькой и лёгкой бородатой головёнкой, куцым хвостиком и белыми гольфиками на ногах. Она как невыросший ребёнок. Я видела, как на ней занимались, но мне всегда она казалась такой несерьёзной, что даже в голову не приходило, что она может достаться мне.

Когда я вхожу в манеж, мне кажется, на меня все пялятся: фу, какая уродина! Не я — лошадь. На зрительских креслах какие-то незнакомые подростки. Не

в форме, просто пришли посмотреть. Ну и пусть глядят, куда же теперь деваться. Папа тоже уже на манеже с Изумрудом. Вот он — красавец! Не папа, а конь, хотя папа тоже ничего. Изумруд — орловский рысак, весь такой ладный, аккуратный. Не то что моя страхолудина. И Таня на Золушке, красивой саврасой кобыле, и ещё какая-то полная девочка на пони.

Ладно, коняга, поехали. Посмотрим, что ты за подарок.

Но всё начинается хорошо: Спарта спокойно стоит, пока я затягиваю подпругу, трогается, когда я её прошу, и выполняет команды послушно, хотя и кажется немного рассеянной, словно бы делает всё не из уважения ко мне, а потому что ей больше нечем заняться. Шупленькая, маленькая, она кажется нестрашной, и я расслабляюсь.

В середине занятия Елизавета Константиновна начинает расставлять барьеры. Мы наблюдаем, как возникают два невысоких заборчика из перекрёщённых досок и ещё несколько таких же досок ложатся в середине манежа, на расстоянии большого шага друг от друга. Барьеры совсем невысокие, не кажутся серьёзным препятствием, но всё-таки сердце у меня тревожно колотится.

И тут я замечаю, что Спарта преображается. Голова её взлетает, уши насторожились, а тело напрягается, будто наливается изнутри. Она начинает шагать бодрее. Сердце у меня заходится.

— Для тех, кто в первый раз, объясняю, — говорит Елизавета Константиновна. — На барьер заходим на рыси, никуда не летим, понятно? В момент прыжка становитесь в полевую посадку. Руки строго за гриву,

слышите меня? За гриву! Встали, прыгнули, до четырёх досчитали, сели. Всем понятно?

Я радуюсь, что вчера посмотрела видосы и теперь знаю, что такое полевая посадка.

— Ладно, поехали рысью. На полевой! — командует Елизавета Константиновна.

Все привстают в стременах, едут, слегка покачиваясь, и я тоже привстаю и еду за ними. Вроде ничего, получается. Потом Елизавета Константиновна велит заезжать на кавалетти¹ — это оказались те самые доски посреди манежа. Мы едем друг за другом, я пристраиваюсь за папой, и рысь становится более редкой, когда Спарта перешагивает через доски. Меня качает чуть больше, но привыкнуть можно. Потом мы садимся в седло и поднимаемся на полевую только на самих кавалетти. Потом опять в полевой — и по кругу всё снова.

— Хорошо, — говорит Елизавета Константиновна, когда мы отъездили и передохнули, а сама берёт хлыст и становится к первому барьеру. — Ездой налево, жёлтенькое, покатались. Кто там первый? Золушка? Таня, давай, твоя лыжня.

Таня как раз едет по прямой к барьеру, и никого перед ней нет. Даёт лошади шенкель, та идёт галопом. Толчок, Таня чуть заметно привстаёт — и Золушка легко перепрыгивает барьер, почти не заметив, кажется, просто перешагивает его.

— Ничего, хорошо. Только я как сказала заходим? Рысью. Станислав, следующий! — командует Елизавета Константиновна.

¹ К а в а л е т т и — невысокие препятствия, иногда просто деревянные жерди, положенные на землю. Используются для обучения лошади и всадника базовым навыкам конкура.

И тут до меня доходит, что лошади выстроились в очередь и что я вот-вот поеду тоже! Сердце заходится, ладони становятся влажными.

А папа уже поворачивает коня на барьер.

Изумруд видит его. Разгоняется. Прыжок!..

И папа спокойно отъезжает с другой стороны. Как будто ничего и не было. Я даже не успеваю заметить, как у него это получилось.

И слышу:

— Валя, поехали. Спокойно. Не держи её.

Но я и не держу. Стоило мне завернуть к барьеру, как со Спартой что-то происходит. Как будто у неё между ушами загорается красная лампочка: она вытягивает шею, сама вся вытягивается в струнку, набирает скорость — и несётся со всех ног!

— Грива! — слышу я, в последний момент выкидываю вперёд руки и только привстаю, как уже понимаю, что мы перелетели на другую сторону.

И Спарта тут же останавливается как вкопанная. Больше ей неинтересно.

— Ничего, Валь, для первого раза нормально, — слышу голос Елизаветы Константиновны, но сама не очень понимаю, что это было и что в этом нормального. — Похлопай и отъезжай из-под барьера. Следующий.

Я хлопаю Спарту по шее и двигаю её обратно в ту же очередь. Сердце колотится, но это уже не страх, а восторг: получилось! И как это круто! Хочу ещё!

«Ещё» наступает стремительно. Я даже не успеваю сообразить — Спарта сама выворачивает на барьер, сама набирает скорость, я опять слышу: «Грива!» — и оказываюсь на другой стороне.

Кажется, получается. Я ещё поверить в это боюсь, но кажется — да! Отыскиваю глазами Таню — может, она мне что-то подскажет, хотя бы кивнёт, так ли я всё делаю. Но из-под каски её глаза строгие, а лицо непроницаемое. Непонятно даже, видела ли она, как я прыгала.

Ну и ладно. Мы прыгнули ещё раз в эту сторону, потом — в другую. Спарте это явно нравится, и я понимаю теперь, что значит «она сама идёт на барьер», — мне ничего не надо делать, чтобы направить её. И прыгать оказалось несложно, главное, привставать, вытягивать руки вперёд, хвататься за гриву — и уже садишься на другой стороне. Всё!

— Сидеть! Ульяна, сидеть! — вдруг слышу я за спиной, а потом странный звук.

Оборачиваюсь: полная девочка свалилась с пони. Съехала набок, как мешок. Стоит теперь, отряхивается, нелепая и смешная. Елизавета Константиновна подводит ей пони в поводу.

— Всё нормально? Залезай.

Ульяна не смотрит на неё и ни на кого не смотрит, лезет обратно в седло. Поехала дальше.

А мне опять становится страшно. Я уже как будто и забыла, что можно упасть. Сначала думала об этом, а потом так втянулась, что перестала.

— Ездой направо: жёлтое — на зрителей, белое — к стене. Потекли! — командует Елизавета Константиновна, и я только тут замечаю, что барьеры стали выше: она подняла планки. Страх плещет во мне снова.

Прыгает Таня — один барьер, другой. Нормально. Прыгает папа — один барьер, другой. Чуть похуже, его болтает в седле, и Елизавета Константиновна велит не стоять на стремянах, но тоже ничего.

И вот моя очередь.

— Валя, спокойно. Отдай ей повод, не тяни. Она и так нормально заходит.

Отдать повод — да она шутит! А держаться за что? Но я не успеваю ничего ответить, потому что Спарта дѣргается — и я слышу странный звук. Что это?

Господи, да это ветер в ушах — так быстро она скачет!

Прыжок! Грива!

Порядок.

Но Елизавета Константиновна кричит:

— Веди, веди дальше! Следующий барьер!

Ой, я же совсем о нём забыла!.. Но Спарта понимает всё быстрее, чем я. Поворачивает. Снова шумит в ушах. Толчок! Прыжок!..

И тут я чувствую, что лошадь из-под меня уходит. Она в одну сторону, я в другую. И я ничего не успеваю сделать, хватаю воздух вокруг себя.

— Мама!

Кувыркаюсь через голову и сажусь. Вижу, как Спарта рысью отбегает, белея своими гамашами. Хорошо, что я вчера посмотрела, как правильно падать.

— А вот потому, что вести надо лошадь! — кричит Елизавета Константиновна. — После барьера — шенкель. А не сидеть как кукла. Работать надо своими макаронинами! Лошадь-то права, она дальше поскакала, у неё маршрут.

«И нам, видимо, не по пути», — хочу сказать я, но молчу. Смотрю, как Елизавета Константиновна ловит Спарту и ведёт ко мне.

— Всё нормально, ничего не отбила? Залезай.

— Опять?



— А ты как думаешь? Упала — это ещё не повод прекращать занятие.

Ладно, не повод так не повод. Я сажусь, и мы едем шагом, пристраиваемся в хвост очереди. Все снова прыгают два барьера подряд. Нормально прыгают, даже Ульяна на пони.

— Спарта пошла, — слышу я. — Рысью. Не гони. Потянула — отпустила. Успокой лошадей!

Я бы рада — но какой там! Спарта, только сообразив, что нам сейчас снова прыгать и ещё даже не видя барьера, как будто срывается с цепи и скачет изо всех сил! Я чувствую, как напряглись её мышцы, но уже ничего не могу — ни думать, ни делать. Я только хватаюсь за неё и стараюсь не закрыть от страха глаза.

В ушах свистит. Меня толкает снизу, подбрасывает, я чувствую, что теряю опору, пытаюсь схватиться хоть за что-нибудь, но понимаю, что уже не держусь, меня выкинуло снова на шею лошади. Спарта же не сбавляет темпа, несётся на галопе, вписывается в поворот, проносится у самой стены — и у меня что-то щёлкает в мозгу, я хватаюсь за деревянный борт манежа.

— Куда?! — слышу крик Елизаветы Константиновны. — Нельзя!

Но поздно. Непонятно, чего я хотела — остановить лошадь или пересечь на забор, но только Спарта выкатывается из-под меня, а я сползаю на землю.

Еле-еле встаю на ноги — колени трясутся. Я даже хватаюсь за них с удивлением — всегда думала, что это такое литературное преувеличение, а вот, оказалось, правда, ещё как трясутся.

— Валя! Ты куда полезла? — Елизавета Константиновна подводит мне лошадь снова. — На тот же барьер, поехали.

— Опять? — У меня голос дрожит. Мне кажется, я сейчас упаду, я хочу, чтобы меня пожалели. Нахожу глазами папу. Он смотрит внимательно, но не вмешивается. На манеже главный — тренер, что может сделать папа?

— А ты что хотела? — вместо всякой жалости накидывается на меня Елизавета Константиновна. — Лошади нельзя закреплять, что она тебя сбросит — и всё, свободна. Она потом так всегда делать будет. Поехали. Дети, пропустите Спарту!

Я сажусь в седло, чувствуя, что у меня не осталось никаких сил. В голове шум, я просто не соображаю, что мне делать. Сажусь, пускаю Спарту рысью. Она доезжает до конца манежа, поворачивает на барьер — и срывается в галоп.

— Ничего. Ничего. Аккуратно едем, пусть так, — слышится голос Елизаветы Константиновны, а я понимаю в этот момент, что Спарта идёт не на дальнее препятствие, как должна, а на ближнее, под углом!

Я слишком поздно это понимаю. Ахнуть не успеваю — лечу вперёд лошади, через её шею.

Кувыркаюсь. Перед глазами — песок. Сажусь. Озираюсь. Хлопаю глазами. Голова кругом.

— Валя, нельзя было туда! Держать нужно лошадь! — кричит Елизавета Константиновна.

И я осознаю, что она мне всё это время что-то кричала, но я просто не слышала. Я вообще как в бочке, и вокруг меня только гул.

Спарта уже рядом. Мне кажется, она ухмыляется, пока я опять залезаю на неё.

— Поехали. На белый. Слышишь меня, Валь? На белый!

Я слышу — и не слышу. На самом деле мне уже всё равно. Совершеннейшее равнодушие во всём теле, в голове — всюду. Мне только хочется, чтобы от меня отстали.

Но нет. Спарта делает круг, опять выходит на прямую к барьеру — и я вижу, что она скачет на ближний, жёлтый.

— Нельзя! Вольт¹! Валя, вольт! — слышу я голос Елизаветы Константиновны и тут вижу её саму: она выходит и становится перед барьером!

Мне показалось, у меня глаза выкатятся от испуга. И Спарта тоже, похоже, обалдела. Она уже неслась во весь дух, так что её ничем нельзя было остановить. Но тормозит, сама, потому что я уже ничего не могу, только бы держаться. Изгибает спину и отворачивает и от тренера, и от барьера. И замирает возле правой стойки, вкопавшись всеми четырьмя, а меня по инерции сдёргивает вперёд — и я бухаюсь под ноги Елизаветы Константиновны.

Ба-бах! — это рушится барьер, потому что я его зацепила. Кони вокруг вздрагивают, кто-то пытается сорваться в галоп, Спарта прыгает рядом. Я чувствую себя пластмассовым манекеном: руки-ноги как палки, в голове пустота. Глазами хлоп-хлоп. Кто все эти люди?

Четвёртый раз. Четвёртый раз подряд я упала. За один день! За одно занятие! А до этого — ни разу. И жутко собой гордилась.

¹ В о л ь т — движение лошади по кругу, одна из начальных фигур в выездке.

Вот, получи! И какая тебе после этого секция?

— Валя, ну что ты сегодня валишься? — Елизавета Константиновна не ругается, голос звучит сочувственно. С кресел, где зрители, слышится смех. Неприятный, с хрипотцой. Оборачиваюсь — те самые девчонки угорают. Конечно, «Валя — валишься», ржака!

Меня душат отчаяние и злость. И тоска: опять в седло?!

— Я не хочу! Елизавета Константиновна, я не сяду! Я боюсь! — Я сама не узнаю свой голос — капризный, детский, разве это я?

Во мне всё колотится. Мне и правда ужасно страшно. Я только сейчас это почувствовала — зато с какой силой! Оборачиваюсь, ищу глазами папу: ну ты-то, хоть ты мне помоги!

— Ну-ка, не хнычь! — коротко говорит Елизавета Константиновна.

И я смиряюсь.

Скажи она что угодно другое, и я бы разревелась, наверное. Но она говорит, как мама, как будто знает, что надо сказать. Только шмыгаю носом и покорно лезу в седло. Потому что мама всегда, стоит мне начать реветь, говорит: «Не хнычь!» — и никаких разбирательств, никаких утешений, хоть бы я руку порезала, хоть бы коленку об асфальт, хоть когда сломала руку, съехав с горки.

Хоть бы вот четыре раза подряд с коня слететь. Какое дело? Надо — залезай и езжай. И не хнычь. Тренер на манеже главный.

Залезаю. Оборачиваюсь на папу. Он подмигивает. Держись, Кроль!

— Один раз прыгнешь — и отстану, — говорит Елизавета Константиновна, под уздцы выводя Спар-

ту на внешний круг. — Она тоже уже устала. Но она должна слушаться, понимаешь? И знать, что так себя вести нельзя. Поехали, на белое. Не объезжай, сразу. — И отпускает лошадь.

Сразу так сразу. Шагом, потом рысью. Жёлтое препятствие разрушено, туда она больше не полезет. Белое. Доворачиваю, прижимаю оба шенкеля. Галоп. Толчок. Грива.

Сели. Вот и всё.

Я даже оборачиваюсь — и правда, всё? Да, барьер сзади. Мы трусём со Спартой по внешнему кругу.

— Валя, молодец! Угощай кобылу, отставай. Порыси по стенке. Остальные ездой направо, подряд: белое, жёлтое. Поехали!

Как будто ничего не случилось.

Когда я подхожу к раздевалке после тренировки — вся измочаленная, а главное, с таким противным чувством на душе, хоть бы никого не видеть, — слышу: за дверью гвалт и хохот.

Останавливаюсь. Вспомнилось, как хохотали во время занятий — надо мной, конечно, над кем же ещё. Может, не идти? Чёрт, но там мои вещи. Ай, да чего уж!..

Решительно вхожу.

Там полно народу. В раздевалке две комнаты. В дальней толкаются маленькие девочки с мамами и бабушками. В ближней — девочки постарше, я никого не знаю, кроме Тани. Они не переодеваются, они просто тусят, все давно знакомы, сидят, прикалываются друг над другом. А ведь это, наверное, та самая группа, куда Таня ходит, догадываюсь я. А ведь мне так хотелось с ними познакомиться...

Но понимаю, что ни с кем знакомиться не буду и не хочу. Потому что им сейчас вообще ни до кого дела нет. В центре комнаты — большой диван. На нём сидит парень. А на коленях у него — девица. И рядом ещё человек шесть, наверное. Все они как-то умудрились уместиться, и толкаются, и пихаются, и хохочут, то и дело вытесняя крайнего на подлокотник.

— Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Ай, уйди, раздавишь!

— Да ла-а-адно, ты не выдержишь, что ли?

— Ой, я сейчас лопну!

И дружный смех.

— Девочки, нельзя потише? — выглядывает из соседней комнаты чья-то бабушка.

Все притихают, но только она скрывается, парень сипит противным голосом:

— А мы не девочки!

И все снова ржут.

У окна, перед диваном, стоит Таня. Я цепляюсь за неё глазами — хоть кто-то свой, — но она на меня не смотрит. Она смеётся со всеми. Мажет по мне взглядом и отворачивается, как будто бы не узнаёт. Во мне что-то ухает. Зачем-то бросаю: «Здрасте», — хотя никто меня не видит и не слышит, и тут же начинаю дико на себя злиться — вот зачем? Пытаюсь пройти дальше, к шкафчикам, но в этот момент от окна делает шаг другая девица, постарше, с длинными распущенными волосами. Она всё это время там стояла и любовалась на себя в селфи-камеру на телефоне. Одета в форму, хотя с нами не занималась. Форма у неё новая, и видно сразу, что дорогая: бриджи цвета топлёного молока, с кожаными вставками на коленях, блестящие высокие сапоги, футболка-поло со стразами по вороту. Она

очень красивая, в смысле девица, не футболка, и волосы у неё чёрные, до самого пояса, но мне отчего-то не нравится в ней сразу всё: и как любит себя, и как красуется перед другими. И даже голос, когда она говорит:

— А ну расступись! Я первая вообще-то тут сидела!

И падает в самую гущу на диване, явно намереваясь распихать всех.

Снова хохот и гвалт:

— Анжела! Ты чего пихаешься?!

— А ты чего такая жирная? Не умещаешься совсем.

— Ох, люди, я не могу уже, я сейчас сдо-охну-у!

— Желка, на фиг вырядилась? Сегодня же ещё тренировки нет! — кричит потом кто-то, и я узнаю: это она смеялась надо мной в манеже, у неё голос с хрипотцой, такой сложно не узнать.

Я уже успела нырнуть к шкафчикам, но выглядываю, чтобы увидеть, кто это. Оказалось, та самая девица, которая сидит у парня на коленях.

— Так покрасоваться! — хмыкает парень.

И все начинают снова ржать.

Я думала, что красивая Анжела обидится, но она отвечает спокойно:

— Конечно, а когда ещё-то? Будем потом все грязные и потные, фу! Пока седлаешься, вечно вымажешься как свинья.

— Так не седлайся! — кричат ей.

— Езди так.

— Или найди себе раба, — говорит та же девица, которая у парня на коленях. — Ну, конюха в смысле. Вон хоть Танюху.

И все начинают хохотать, а я напрягаюсь.

— А точно! — радуется Анжела. — Танюха, будешь мне конюхом? Седлать, убирать, чистить.

Во мне всё сжимается от обиды за Таню и от страха: сейчас она им что-то ответит, и что тогда будет?... Но ей не дают ответить, Анжела говорит снова:

— Мне тут папа коня обещал. Ничего так, полтора ляма стоит. На даче, говорит, поставим, пусть стоит. Только, говорит, ухаживать сама будешь. А оно мне надо? Я говорю: я нанималась? Берейтор для этого есть. А он: нет, в воспитательных целях. Воспитывать меня решил, ага. Танька, пойдёшь ко мне берейтором?

И все снова отчего-то ржут. Хотя чего ржать? Вот Елизавета Константиновна тоже берейтор — это тот, кто с лошадьми занимается, это не конюх. Конюх у нас Мунир, с которым мы пожар тушили. Или они совсем ничего не понимают?

А Таня молчит. И они продолжают:

— Да наша Таня за любую копейку станет коня в попу целовать, правда, Танюха? — Снова та, с хрипотцой. — И бесплатно даже. Лишь бы покататься дали.

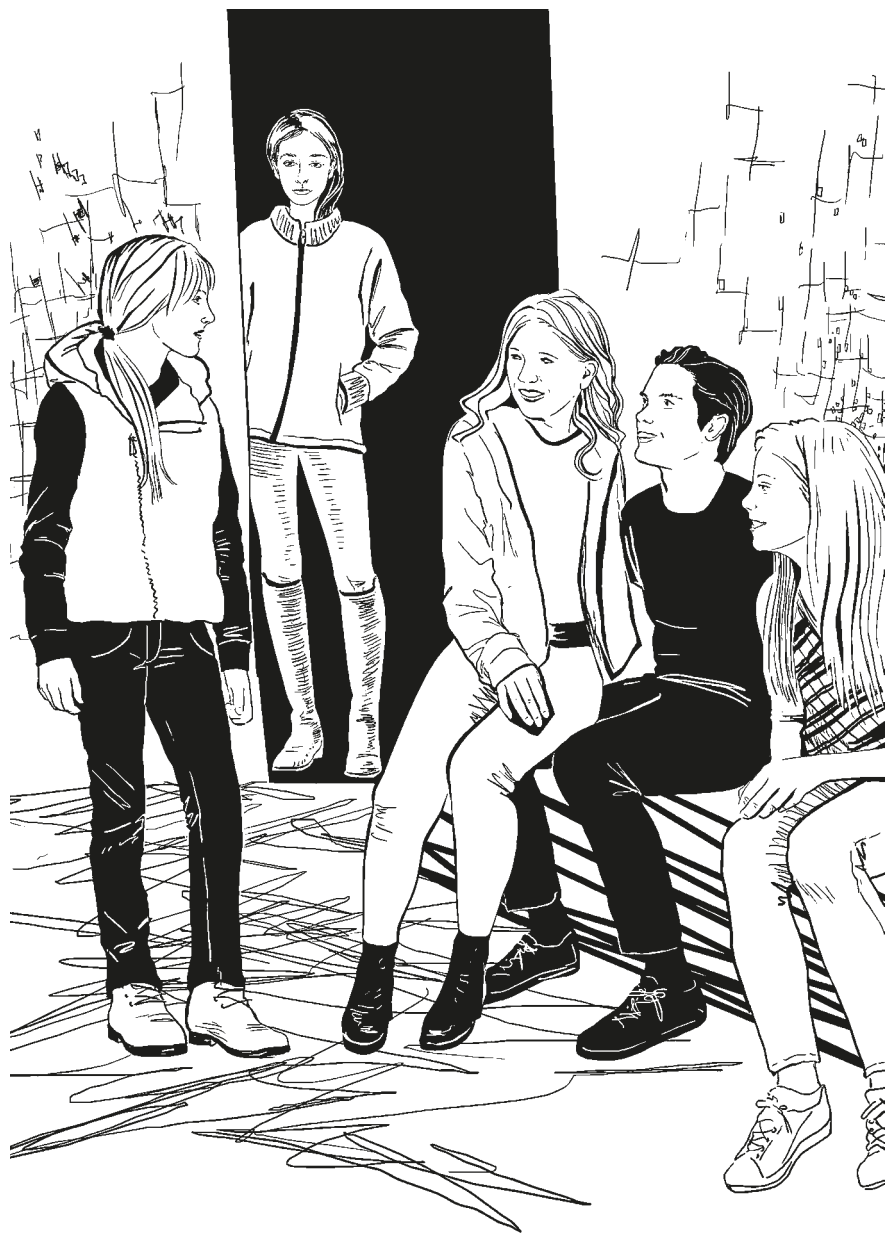
— Ну вот ещё! — перебивает Анжела. — Кататься я буду сама.

— Тыгдым, тыгдым, тыгдым, тыгдым... — мужской голос. И смех. Противный, сальный какой-то. Наверное, подбрасывает девицу свою на коленях.

— Эй! — возмущается хриплая.

— А ты ему шенкеля дай! — кричат вокруг. — Чтобы не баловался.

— Хлыстиком его, хлыстиком!



— А лучше дай Таньке, она его объездит! — смеётся Анжела. — Под Танькой все как шёлковые становятся.

Ну, это уж слишком! Такого я выдержать не могу. Беру свою куртку, захопываю шкафчик и выхожу. Таня так и стоит перед ними, молчит, а лицо какое-то... Я не могу понять сразу, но незнакомое лицо.

Останавливаюсь возле неё, к дивану спиной:

— Тань, ты в манеж идёшь?

Голос дрожит. Гадко дрожит, чуть надави на меня — начну орать на них. В манеж нам не надо. Ни ей, ни мне. Меня вообще уже папа ждёт. Но как ещё её отсюда вытянуть? Потому что так нельзя с человеком! Или они не понимают? Всё понимают, конечно, специально издеваются. А Таня терпит. Почему? Глядит на меня прозрачными глазами. И отворачивается к дивану. Улыбается им. Такой глупой собачьей улыбкой: я с вами, я всё равно с вами, хоть пинайте меня.

Господи, зачем? Во мне всё прямо стонет.

За спиной шушукаются, притихли. Потом слышу:

— Ты Валя, да?

— Ну? — оборачиваюсь резко. Кто первый вспомнит: Валя-валится? Смешно же, ужас!

— Ты сколько занимаешься? — Та, с хрипотцой. Глядит нахальными глазами. Но без агрессии. С любопытством даже.

— Три месяца. А что?

— А так, ничего.

Остальные рассматривают, как мебель. Парень продолжает её качать на коленке:

— «По кочкам, по кочкам, по маленькой дорожке...»

— Она в младшей будет, не переживай, Натах, — говорит Анжела, как будто меня нет рядом. Красивая и богатая. И наглая — вот что мне в ней больше всего не нравится, теперь поняла.

— Ну и хорошо, — кивает та. Она явно потеряла ко мне всякий интерес.

— Меньше народу — больше кислороду, — говорит Анжела, и все смеются с ней вместе.

Всё, пора уходить. Ещё чуть-чуть — и я не сдержусь, скажу им что-нибудь, и тогда будет скандал — а мне нужен скандал в самом начале занятий?

— Пока, — бросаю Тане.

Та кивает, глаза чужие. Она с ними.

Ну и пусть.

— «В ямку бух!» — доносится из комнаты, когда уже выскакиваю на улицу.

Наташа визжит, и все заходятся безудержным смехом. Животные.

Я представляю, как она рухнула на пол. Чувствую злорадство: так ей и надо. И Тане так и надо. Раз им нравится друг над другом издеваться. А мне такие друзья не нужны.

Никакие мне друзья не нужны!

Папа ждёт меня у выхода из клуба, и я сразу припускаю вперёд, не глядя на него.

— Эй, Кроль! — догоняет. — Всё нормально? Ты чего такая мрачная? Больно ударилась?

— Да нет. Так. Ты же видел всё, — бурчу. Не рассказывать же ему, что сейчас было. — Ничего у меня не получается.

— Чего не получается? Я не видел, что не получается. Всё вполне даже нормально.

— Ты издеваешься, пап?

— Почему издеваюсь? Я серьёзно. Ты справилась. А что упала — так все падают. Спорт такой. И ты вообще-то в первый раз прыгала.

— Ага, ты тоже в первый раз, но почему-то не упал ведь!

— Ну, простите... — Папа разводит руками.

Я чувствую, что по-дурацки сказала: выходит, как будто я жалею, что папа не упал.

— Извини. Я не то хотела...

— Ладно, Кроль, я всё понимаю. Если хочешь серьёзно, то я тебе вот что скажу: можешь считать, что это твоё лучшее занятие на данный момент. По тому, как много оно тебе дало.

— Па, ну сколько можно! Что оно мне дало?

— А то: ты научилась справляться с трудностями. Реагировать на нештатные ситуации. Не всё же всегда гладко. Надо понимать, как себя вести. Или хотя бы знать, как твоё тело отреагирует, случись что. И знать, как с этим справляться. Так что цени. Сегодня было неприятно, да, но в итоге ты справилась. И с лошадью. И с собой, что немаловажно. И самое главное, ты теперь поняла: быстро и легко не получится. И это хорошо.

— Чего же хорошего?! — Я аж задохнулась. Папа бил в самую точку. И без него фигово, а тут ещё он со своей откровенностью.

— А то хорошо, что если ты действительно хочешь этим заниматься, то придётся поработать. И это теперь тебе, я надеюсь, понятно.

Я молчу. На него не гляжу. Иду, смотрю на дорожку. Когда же она кончится? Когда мы наконец домой придём? Хоть бы закрыться ото всех в комнате.

— Кроль, я не слышу: понятно?

— Понятно, — бурчу и больше ничего не говорю. Потому что мне одно понятно: сегодня и правда что-то случилось. И если до этого у меня даже сомнений не было, заниматься или нет, меня аж в дрожь бросало при мысли о лошадях, теперь всё не так. Во-первых, потому что конкур — это правда опасно. И я боюсь, и мне не хочется это повторять. Совсем. А во-вторых, потому что я не хочу общаться с этими людьми. Они мне не понравились, не хочу иметь с ними ничего общего. Или это во-первых?..

— Ты про секцию ещё не передумала? — спрашивает вдруг папа.

Я поднимаю глаза — догадался, что ли? Но, похоже, нет.

— Не знаю. А что?

— Ну, я поговорил с Елизаветой Константиновной. Проблем нет, она тебя берёт. Правда, в младшую группу. Но я думаю, это же всё равно.

— Всё равно, — отзываюсь я, и в голове звучит голос Наташи: «А, три месяца. Ну, тогда ничего-о». Может, это и хорошо, что в младшую.

— Так, ладно, Кроль, если ты думаешь, что я слепой, ты ошибаешься, — говорит тут папа. — Давай колись, что ещё случилось? Шею ты не сломала. В группу тебя записали. Что ещё?

Я вздыхаю. Когда папа говорит таким тоном, не имеет смысла отмазываться. Но что ему сказать?

— Пап, а подростки всегда такие?

— Какие?

— Агрессивные. — Я не хотела это говорить, само выпало. Я даже не думала такими словами. Меня просто что-то душило и томило, но словами я не думала. И вот — назвала.

Папа смеётся.

— Очень смешно! — дуюсь я.

Папа пытается сделать официальное лицо:

— Нет, Кроль. Я знаю очень даже спокойных подростков, — и треплет мне чёлку.

Я вынырываю из-под его руки, поправляю волосы.

— Я серьёзно вообще-то.

— Ну хорошо. — Он меняет тон. — Если серьёзно, айда гулять ещё.

И разворачивается перед самым выходом из парка. Я тащусь за ним. На самом деле уже темно, в парке бродят какие-то тени, и папе на работу завтра. Но ладно. Раз он сам предложил.

— Так чего у тебя случилось, расскажи?

— Ничего. Нет, правда. Со мной, по крайней мере, ничего, — говорю и понимаю, что это бесполезно. Если хочешь что-то понять, нет смысла скрытничать. — Ну, просто... Там старшая группа пришла. В которую Таня ходит. И я слышала... как они... ну, как они друг с другом общаются. Это мрак, пап! — выдыхаю.

— А что? — Кажется, папа напрягся. — Какие-то слова нехорошие?

— Нет! Нет-нет, не то! Просто очень... грубо, что ли. Прямо друг с другом так... как будто все... Я не знаю. Стараются показать, какие они крутые. Друг другу показать, понимаешь? Если не красивые, то богатые, если не богатые, то наглые. Ну, я не знаю. Мо-

жет, мне так показалось... А Таню при этом в грош не ставят. Смеялись над ней. А она... молчала. И смеялась даже... с ними тоже, — добавляю тише. Потому что мне стыдно об этом вспоминать. Стыдно за Таню, как будто это было со мной.

— А, так ты за подругу обиделась! — говорит папа с облегчением.

Меня как будто за вожжи дёрнули.

— Какая она мне подруга?! Нет у меня друзей! Никого у меня нет и не будет! Тоже мне подруга! Мы с ней даже не разговариваем!

— Тихо, тихо, Кроль. Ну, ты чего взвилась? Я же просто спросил.

Молчу. Иду. Пинаю листья. Август же ещё, откуда вдруг листья? Нет, сыплются уже. Осень скоро. Всё будет жёлтое, жухлое. Дождливое. А ведь лето казалось вечным...

— Извини.

— Да ладно, Кроль. Всё в порядке. Я понял тебя. Но только если она тебе не подруга, то что тебя задевает?

— Ну как, как ты не понимаешь?! — Я закатываю глаза. — Люди так не должны друг с другом! Так просто нельзя — унижать друг друга, смеяться. И все смеются, понимаешь?!

— Но если им нравится...

— Да ничего им не нравится! — Я прямо кричу. Сама себя слышу и осекаюсь. — Не нравится, — повторяю тише. — Они просто... терпят. Подстраиваются. Я не знаю почему.

— Может, зависят?

— В смысле? — не понимаю я.

— Ну, друг от друга, например. Почему-то. Я не знаю. Но должна же быть причина, почему люди так поступают.

— Да нет. Не может быть. Там одна такая, ну, типа богатая вся из себя. Остальные-то простые. И они перед ней заискивают, поэтому над Таней смеются. А ей пофиг как будто.

— Как смеются?

— Ну, типа она её к себе конюхом возьмёт. Когда ей коня купят.

— И что?

— В смысле?

— Это всё? — не понимает папа.

— Ну да. Мало, что ли?

— А на что тут обижаться?

— Конюхом же, пап!

— И что? Вон Мунир работает конюхом и счастливым.

— Пап! Прекрати! Ты всё понимаешь. Они специально над ней издевались, типа это грязно, это плохо, всё такое. Это же ясно. А она молчала.

— Слушай, в таком случае всё не так страшно, как можно подумать, — говорит папа. — Можешь быть спокойна: Таня твоя не обиделась. Совсем.

Я даже останавливаюсь. Стою и пялюсь на него. Он хоть сам понимает, что сказал?

— Правда, Кроль. Нельзя обидеть человека тем, что он сам в себе ценит, понимаешь? Даже если другим это кажется чем-то смешным или зазорным.

— Но они же пытались её унизить!

— Конечно. Но не унизили. Я уверен. Это для тебя обидно, но не для неё.

— Почему?

— Ты же сама говорила, что Таня любит лошадей, так?

— Любит.

— И хорошо с ними справляется.

— Ну да, ты же сам видел. Она почти как Елизавета Константиновна! — Это я перегнула, конечно, но всё равно.

— Вот видишь! И я уверен, она мечтает стать как Елизавета Константиновна.

— Тренером в смысле?

— Тренером. Берейтором. Я не знаю. Но как-то связать свою жизнь с лошадьми. В любом случае её нельзя обидеть такими вещами. Это всё равно что нашей маме сказать: я тебя к себе позову, ты мне дом оформишь.

— Это смотря как сказать.

— Понятно, смотря как. Так, как они сказали: когда у меня будет дом, я тебя позову, ты мне его оформишь, — говорит папа с той самой интонацией, как Ангела в раздевалке, так что я даже теряюсь: он же не слышал, откуда он может знать, как это звучало?

Он замечает мою растерянность и смеётся, снова тянется к чёлке, но я отстраняюсь:

— Мама не пойдёт.

— Может, и не пойдёт, — пожимает плечами. — Но её это точно не обидит. Потому что она художник и ничего дурного не видит в том, чтобы оформить кому-то дом.

— А ты?

— Что — я?

— Ты бы обиделся за маму? Ну, если бы ей так вот сказали.

— Я-то? — Папа задумывается. — Я бы, наверное, обиделся. Потому что мне было бы ясно, что человек, который так говорит, на самом деле маму не ценит.

— Вот! Теперь-то ты понимаешь!

— Да понимаю я, Кроль. Но и ты пойми, что вступить за них в таком случае нельзя.

— Почему?

— Если человеку самому не обидно, что ты с этим сделаешь? Это же его дело, правда?

— Ну-у... — тяну и понимаю, что он прав. И выхода нет. Совсем. Никакого. — А ты бы как поступил?

— Когда?

— С мамой.

— Я? Пожалуй, я бы с ней поговорил. Объяснил, что эти люди смеются над ней и не ценят и что, наверное, не стоит с такими общаться.

— И всё?

— Всё. Пойми, Кроль, это и правда её дело. Только я почему-то уверен, что мама поняла бы. И Таня поймёт, если ей об этом сказать.

Я киваю и замолкаю. На самом деле меня всё ещё душит и гложет, что ничего, совсем ничего поправить нельзя. Но папа прав. Конечно, я понимаю, что он прав.

— Ну что, Кроль, мировая проблема решена? Идём домой, — усмехается он.

И мы идём домой, и за ужином папа рассказывает маме о первом нашем конкуре и о том, как это круто, как захватывает. А о том, что я четыре раза подряд

шмякнулась, ни слова не сказал, и я ему очень за это благодарна.

Зато говорит, что перевёл меня в группу.

— Занятий там больше, а по финансам значительно экономней, — выкатывает папа явно заранее заготовленный аргумент. — Если уж вас с Велемиром отправлять в Германию.

— Значительно экономней дома сидеть, — отзывается мама, и голос у неё такой неприятный. Это называется «скептический». — И для здоровья полезней. — И выразительно смотрит на меня. Я — на папу. Вроде он же ей не сказал, что я шлёпнулась, так чего она вдруг?

— Не скажи. Дома сидеть — не наш вариант. — Папа продолжает как ни в чём не бывало.

— Кто бы сомневался... — вздыхает мама.

— Короче, Склифосовский! Если ты за окружение волнуешься, я тебе скажу: все дети там нормальные, я их видел. В основном младше Славки будут.

Я вздыхаю. Вот тут он прав. Может, оно и хорошо, что меня записали в младшую: если бы мама пришла хоть раз и увидела старших, какие там нормальные дети... Деточки, ага!

Снова наваливается всё то, что было в раздевалке. Как же это гадко, мерзко! И самое противное, что я — я ничего не сделала! Совсем...

Поднимаюсь из-за стола и иду в комнату.

— Кроль, ты куда?

— Спать.

— Ты чай не допила. — Это мама.

— Вылей.

— Велеслава!

— Свет, оставь её. — Папа. И тише: — У человека переходный возраст.

Переходный, ага! Откуда куда, интересно? Свет в комнате не включаю, забираюсь к себе на антресоль и зарываюсь в постель. Закрываю глаза и слушаю, как колотится сердце. Снова всё передо мной — их глаза, голоса, смех. И обида, и опять сжимается горло от возмущения. Даже кулаки сжимаются: ну почему, почему я промолчала, почему не сказала ничего?! О, как я ненавижу их сейчас! Ещё сильнее, чем тогда. Потому что тогда я их боялась — вот дура! Чего бояться?! Нет бы сразу им всё сказать! Заступиться за Таню.

Только — блин! — а оно ей надо? И ладно бы мы были с ней друзья. А то ведь я её совсем не знаю. Даже какие она слушает песни в этих своих наушниках. И что, мне лезть её защищать? Да сдалась мне эта Таня! Зачем вообще люди дружат, глупость ведь сплошная! Говорят о чём-то, у них общие интересы, да? Ходят друг к другу в гости, делятся секретами. Ерунда! Может, ещё пригласить Таню в гости, а?

Я переворачиваюсь на бок и ввинчиваюсь в подушку, только представив Таню на нашей кухне. И что мне с ней делать? О чём говорить? Но вот ведь ходит к маме с папой тётя Оля. И тётя Ира с дядей Серёжей. Сидят на кухне, чай пьют.

Снова переворачиваюсь, поджимаю подушку под живот. Обнимаю. Пихаю её ногами. Вылезаю из-под одеяла. Сил никаких нет — и жарко, и душно.

И вдруг вижу перед собой глаза.

Из темноты смотрит Велька. Не мигая. Пристально. А я и не слышала, как он вошёл.

Я сажусь.

— Ты чего? Фу, как ты меня напугал!

Стоит, держась за борт кровати. Не ребёнок — инопланетянин. Меня пробирает морозом.

— Я тебе мешаю? Извини, я не буду больше.

Кивает чуть заметно. И не уходит. Уф, какие у него всё-таки глаза. Не зря я его в детстве боялась. Подменыш.

— Я думаю просто.

«О чём?»

— Тебе неинтересно будет.

«О чём?»

— Ну, вот. У меня совсем нет друзей...

«Почему?»

— Не знаю. Наверное, я не умею. Заводить их. Общаться. Не знаю, как это. У тебя вот друзья есть?

«Есть».

И я вижу в голове — не вспоминаю, а именно вижу, потому что это всё от него, — дуб в парке, и кошку, которая в соседнем подъезде живёт, и ещё какую-то ворону, и куст у дорожки, и что-то ещё...

Друзья это его, ага. Велька, какой же ты хороший!

— Это не то, — говорю. — Друзья — это люди.

«Всегда?»

— Всегда.

«Тогда я».

Кладёт мне ладошку на руку. Гладит. Пальчики у него маленькие и холодные. Чужие, но в то же время родные. Сжимаю его руку.

— Спасибо. И я тебе друг. А теперь иди спать. Я тоже усну.

Кивает. Ныряет вниз. Слышно, как шуршит одеялом. Я тоже укрываюсь, но лежу с открытыми глазами, смотрю в потолок.

Пригласить, что ли, правда Таню в гости?

Глава 5

Если посмотреть на наш парк сверху, например со спутника, увидишь так: один синий кружочек, другой, третий — это пруды. Между ними дорожки — для людей, велосипедистов, собак, ну и вообще. Есть ещё четвёртый кружочек, но он маленький, в самой глубине, к нему не ведут дорожки. Точнее, есть, но они узенькие — так, тропки. Их не видно со спутника. Зато самое интересное начинается всегда там, в глубине.

Я бреду по парку, пинаю листья. Меня тоже со спутника не видно. Сентябрь в самом разгаре. Многие деревья ещё зелёные, но желтизна уже мелькает. Некоторые почти осыпались. Тополя, например. Тополя всегда первыми облетают. В парке мало тополей, только вдоль прудов, и там уже совсем пусто, голо, ветром продувает и воздуху много. А уйдёшь вглубь — лес, тьма.

Ужасно люблю такие места. Ещё год назад я бы обязательно там все закоулки излазила, даже на деревья залезла бы, наверное. А теперь мне приятно просто бродить, не торопясь, просто быть там. Да и погода моя любимая: утром был дождик, и сейчас того гляди начнёт капать, но не капает, только набухает, и воздух влажный, тяжёлый, хоть ложкой ешь.

Я люблю сентябрь. Он такой — задумчивый и немного сентиментальный. Прощальный. Мне слышится: *прощать*. Всё кажется таким красивым. И так нежно всё в сентябре любишь — хоть людей, хоть деревья, хоть что. И немного всё жалко. И прощаешь всем всё.

Я думала, в сентябре у меня начнётся новая жизнь, а оказалось — не особо. Я как не ходила в школу, так и не хожу. Как занималась на лошадях, так и занимаюсь. Правда, теперь три раза в неделю, потому что секция. Младшая. И я там старше всех. Но это даже хорошо: мне всегда дают высоких лошадей, просто потому, что все пони заняты. У старших не так. У них могут и понишку дать, если другие лошади в прокате. Так что мне, считай, повезло.

Наша группа занимается первой. Потом старшие, туда ходит Таня, а с ней и все те девчонки, кого я видела в раздевалке. С Таней я теперь почти не пересекаюсь. Когда я прихожу, её ещё нет. Потом у неё тренировка, а я в это время отдыхаю. Потом иду на манеж, смотрю папино занятие. На середине его приходит Таня. Вот тут мы с ней вместе сидим на зрительских стульях, но всё равно не общаемся. Потому что Елизавета Константиновна часто просит её помочь. А если она не занята, то слушает музыку. А я просто сижу. Не стану же я навязываться с разговорами.

Сегодня будет всё то же самое. Ну и что, я люблю постоянство. Только вот ушла из дома пораньше, чтобы до тренировки прогуляться. Настроение такое. Так и брожу: в бриджах, ботинках с крагами, с хлыстиком, и шлем в рюкзаке. Будь дома мама, она бы меня ни за

что так рано не отпустила. Она и без того недовольна, что я много времени провожу на конюшне. Начался же учебный год, учиться надо. Я хоть в школу не хожу, но это не значит, что ничего не делаю. Но сейчас мамы дома нет и сказать мне: «Опять? Лучше бы книжку почитала!» — некому. Потому что с сентября Велька начал ходить в тридцать три кружка, на музыкалку, в художку и к какому-то хитрому врачу, который учит его говорить, поэтому мама днём вообще редко дома бывает.

А мне и хорошо. Мне нравится бродить по парку, когда меня никто не дёргает и ничего от меня не ждёт. Мне нравится быть одной. Днём здесь почти никого. Особенно в такую погоду. Бродят мамочки с колясками, пробежит спортсмен, прохрустит дорожкой какая-нибудь бабушка — и всё. Утки на прудах. Белки на деревьях. Тихо и хорошо.

И только я одна хожу и не знаю, чего хочу. Что-то томит и тянет. О чём-то мечтается и чего-то хочется. Но чего и зачем? Кто бы мне объяснил. Нет, все молчат. Папа шутит, крутит мне чёлку. Мама подсовывает книжки, говорит, что я совсем не читаю. А я читаю. «Героя нашего времени» вот только что прочла — и прямо болела два дня, всё мне Печорин везде мерещился. Какой он холодный, жуткий, но на самом деле совсем, совсем не такой...

И ещё там фраза была. Я её даже выписала: «...из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них себе в этом не признаётся; рабом я быть не могу, а повелевать... труд утомительный...» Я её теперь всегда вспоминаю, когда меня колбасить начинает, что у меня никого нет.

Вот, говорю себе, из двух друзей всегда один раб другого. И кем хочешь быть ты?

Занятие проходит спокойно и привычно. Я езжу на любимом Чибисе. Я всегда совершенно спокойна, когда занимаюсь на нём, — он не подведёт. После, расседлав его, покормив морковкой и почистив, я иду в другую конюшню, взрослую, — помочь папе собирать Изумруда. Сегодня у него конкур, а прыгает он только на нём.

— А, привет, Кроль! Как ты? — Папа задаёт вопросы, не переставая чистить коня.

— Нормально. Тебе помочь?

— Что, вам уже Елизавета Константиновна сказала про старты? — спрашивает из-за спины коня.

— Нет. Что это?

— Как — что? Соревнования. Здесь они, оказывается, два раза в году проходят. По выездке и по конкуру.

— А, точно. Девчонки что-то такое рассказывали.

— Вот, Лиза, в смысле Елизавета Константиновна, рекомендует мне готовиться к конкуру. Как считаешь, стоит?

— Ещё спрашиваешь! Конечно, стоит!

Папа смеётся, и я понимаю, что повелась: он и не думал не участвовать.

— А ты?

— Что — я?

— Ты будешь?

— Я не знаю... — мнусь. Не хочу говорить папе, что не люблю я это. Для меня каждое занятие конкуром — пытка. А чтобы ещё и соревнование — я с ума, что ли, сошла?

— Нет, Кроль, такой ответ не годится. В спорте соревнования — часть программы, — говорит и надевает коню уздечку.

— Я за седлом.

Выныриваю из денника — лишь бы не говорить об этом больше.

Но не думать об этом не получается. Зачем он вообще завёл этот разговор? Я так уже привыкла, что мы просто ездим. А что это может быть с какой-то целью, для чего-то — вот хотя бы для соревнований, — у меня и в мыслях не было. Зачем? Кому я что хочу доказать? Ну какой из меня спортсмен, право слово! Я разве не вижу, как занимается Таня? Вот кто спортсмен! И как занимаюсь я...

Таня приходит на манеж в середине папиного занятия. Я стою, облокотившись о борт. Она садится за моей спиной, достаёт телефон, но я не даю ей в него ухнуть:

— Тань, а старты как проходят?

— Какие старты? — поднимает голову.

— Папа сказал: будут старты. Ему Елизавета Константиновна вроде как сказала.

— Когда?

Я вижу, как у Тани загораются глаза.

— Я не знаю. Просто сказала, что тут два раза в году...

— А-а... — Глаза тухнут. — Я-то думала... Ну да, два раза. На Новый год обычно. И в конце мая.

— Как экзамены, что ли? Типа выпускные и семестровые? — смеюсь я.

— Типа! — Таня хмыкает и пытается опять уйти в телефон.

— Папа говорит, ему Елизавета Константиновна сказала конкур ехать, — тереблю я опять.

— Это правильно. — Она уважительно кивает, но глаз от телефона не отрывает. — Особенно на Изумруде. Изик хороший. Это тебе не Спарта. С ним проблем не будет. — Меня колет напоминание про Спарту, но пропускаю мимо ушей — не обижаться же. — И прыгать любит. На нём на старты — самое то.

— Ты на нём прыгала?

— Мы даже на выездные ездили в прошлом году.

— Выездные чего?

— Ну, соревнования выездные. В другом клубе.

— И как?

— Первое место среди юниоров, — говорит Таня и преображается. — Это Изик помог. Он любит старты. Он едет побеждать. Он лучший на нашей конюшне просто. Хотя нет, самый-самый, наверное, Лёша. Но кто ж мне его даст... — вздыхает она.

— Лёша? Это кто?

На конюшне принято давать лошадям обычные, человеческие имена. Пегас у нас Петя, Изумруд — Изик. Но никакого Лёшу я не знаю.

— Он в дальнем деннике стоит, — говорит Таня. — На нём хозяйка занимается. И всякие ВИП-клиенты, только взрослые причём. Потому что дети на нём ломаются.

— А, Эльбрус! — догадываюсь я и вспоминаю голову над дверью денника.

Высоченный, гнедой, он смотрит большим злым глазом, норовит задеть шлем или куснуть в плечо, когда кто-то проходил близко. Не знаю, как остальные,

но я его боюсь, стараюсь обходить стороной и не даю ему морковки.

— Я его на манеже не видела ни разу.

— Ну, я видела, как на нём занимались, — говорит Таня туманно.

— Он, наверное, безбашенный.

— Что ты! Он классный! У него ход такой мягкий. И с всадником прекрасно контактирует. А прыгает как — просто чума! Метр сорок не хочешь?

— Да ладно!

— Вот правда! На тренировках. А на стартах метр шестьдесят брал.

— Обалдеть! — Мне даже не верится, что так бывает. Метр шестьдесят — это выше меня. Чтобы лошадь прыгала выше моего роста?! — А все так могут? И Чибис тоже?

— Ты что, шутишь?! Чибис — это же просто лошадка для покатушек. Он несерьёзный.

— Ну вот ещё! Он хороший. И... необычный такой.

Я хотела сказать «с Алтая», но обрываю себя. Потому что это мне важно, что он с Алтая, ведь там дядя Паша живёт и папа обещал взять туда в поход, а Тане дела нет до этого, конечно. Но всё равно чувствую, что начинаю обижаться.

— Да нет, он лапочка, без вариков. Но не спортивный. Это так, малышей по кругу катать. Если хочешь чего-то достичь, надо на нормальных лошадях заниматься.

Таня говорит, а я чувствую, как во мне всё сжимается. Из-за Чибиса. Что она его не ценит. А я его люблю. А значит, она не ценит и меня. И при этом совсем не замечает, что говорит что-то не то.

— Таня, Валя, киньте чухонец на *B*, диагональку в дальний угол и брусья на *E*! — кричит тут Елизавета Константиновна, и мы вылезаем в манеж, идём таскать тяжёлые стойки и доски, строить препятствия.

Я всё пытаюсь отвлечься от своей обиды. Смешно, конечно. Что я могу обидеться за Чибиса — смешно. Но когда мы ставим барьеры и всадники начинают прыгать, я уже ни о чём не думаю.

Я смотрю на папу.

Спокойно, размеренно он идёт на барьер, как будто считая про себя. Вовремя привстаёт и успевает перенести руки на гриву коня. Изумруд прыгает и делает несколько темпов, отбегая подальше. Всё так слаженно, что кажется — просто.

И я понимаю, что Таня права: Изумруд — прекрасный конкурный конь. Вон как он мягко идёт на барьер. Вон как хорошо слушает всадника. Как старается сделать всё как можно лучше. Чудесный конь, да.

Но если она права про Изика, значит, права и про Чибу? Но ведь это несправедливо! Чибя — добрый, ласковый, очень спокойный и хороший. Ну и что, что не спортивный! Не всем же быть спортивными.

«Просто Таня хочет заниматься конным спортом. А я не хочу», — всплывает у меня в голове, и я понимаю: вот она, правда. Нет, мне нравится ездить. Но я не собираюсь связывать с этим своё будущее, свою жизнь. Поэтому и на соревнования не хочу. И вообще конкуром заниматься.

— Хорошо, Станислав. Погладьте животинку, — говорит Елизавета Константиновна, а это значит, что папа и правда молодец и она им довольна. Добиться от неё похвалы — это дорогого стоит. Меня Елизаве-

та Константиновна никогда не хвалит. Просто никогда. А папу — да. Потому что он талантливый.

У папы глаза светятся. Едет счастливый. Не напрыгался, хочет ещё. Он это дело ужасно любит. И ему не страшно, совсем. В отличие от меня. И он хочет этим заниматься.

Интересно, а чем же хочу заниматься я?

После тренировки, пока он рассёдлывает Изумруда на большой конюшне, я не выдерживаю и иду к Чибису в маленькую. Тот жуёт сено и поднимает на меня удивлённые глаза.

— Чибочка, ты ж мой милый!

Захожу в денник и даю ему сахар. Он берёт мягкими тёплыми губами, но косится без доверия. Он явно никого не ждал — рабочий день окончен, уже дали сено, чего мне ещё? Но я глажу его по пятнистой шее и обнимаю:

— Чибочка, ты всё равно хороший. Правда же? Ну и что, что не спортивный. Не всем же метр шестьдесят прыгать. Зато ты добрый. Зато ты алтайский. Зато ты...

Что-то шумит в дальнем деннике. Я отлипаю от Чибиса и прислушиваюсь. Это ещё что? С конюшни все ушли, никого тут быть не должно. Или этот, как его, — говорят же, что есть какой-то дух в хлеву, который пугает скотину. Заплетает коням гривы и гоняет их так, что они утром все в мыле. Неужели он?

Снова шум. Я выглядываю из денника. Конюшня тёмная. Ряд закрытых дверей. Одна мутная лампочка перед входом. Дальний угол теряется. И там что-то происходит. Шарахается. Вздрагивает. Какой-то звук... Как будто кто-то там...

Но тут открывается дверь и входит тренер. У меня аж от сердца отлегло — не придётся одной идти туда, в темноту.

— Елизавета Константиновна, там!.. — бросаюсь к ней, но не договариваю, потому что опять шум.

И она и так бежит туда. Мимо всех закрытых дверей, за которыми спокойно стоят и жуют кони, все поняшки и недорослики нашей конюшни. Туда, в темноту...

«Свет!» — вдруг озаряет меня. Прыгаю ко входу и щёлкаю выключателем. Лампы начинают потрескивать, загораются лениво.

А Елизавета Константиновна уже распахнула денник и кричит внутрь:

— Это что ещё такое?! Ты чего здесь делаешь?! А ну не смей! Ты за что её наказываешь?!

Да что же там? Подлетаю — и обмираю на пороге: пони Зина в деннике привязана на растяжках, ни взбрыкнуть, ни головой отмахнуться. А над ней стоит Ульяна, толстая девочка из моей группы, которая падает чуть ли не на каждом занятии. А в руке у неё палка. Не тонкий хлыстик, с которым мы занимаемся, а толстенный дрын — наверное, в парке подобрала. И она этой палкой пони только что била! Та стоит перепуганная и правда вся в мыле, только никакой это не дух, а что ни на есть обычный человек. Просто злой и жестокий.

Я чувствую, что у меня у самой сжимаются кулаки. Если бы не Елизавета Константиновна, сейчас вмазала бы этой Ульяне! Но тренер загораживает её от меня, не даёт пройти внутрь. Сама кричит, видно еле сдерживаясь:



— Ты зачем это делаешь? Ты разве не понимаешь, что это садизм — так над животным издеваться? Ты как вообще на конюшню пришла? После тренировки категорически запрещено находиться на конюшне!

Ульяна стоит какая-то вся упавшая, понурая, как будто её тут и нет вовсе.

— Она... она меня... не слушается, — выдыхает еле слышно.

— Ты думаешь, ты так её чему-то научишь? Ты совсем, что ли?! Привязать животное и избивать — это не учёба, это преступление! Она потом бояться всех станет и никого уже слушаться не будет!

На голоса стекаются люди. Прибежали взрослые с большой конюшни, кто-то за моей спиной ахает. Я не свожу с Ульяны глаз. Пусть только сделает шаг из денника, и я её тресну.

— Дай сюда! — Елизавета Константиновна дёргает палку из рук Ульяны, та отдаёт не сразу, вцепилась. Бедная пони дёргается всем телом. — Выходи! Слышишь? Вон, я сказала!

Ульяна протискивается испуганно, будто ждёт, что палка съездит ей самой по спине. Я закрываю глаза, когда она проходит мимо. Тут люди, тут папа. «Нельзя, нельзя», — твержу про себя.

— Выйдите все, я дверь закрою, — говорит Елизавета Константиновна. Бросает палку подальше на пол, прикрывает денник, отвязывает лошадь. Пони прыгает и лягает воздух. — А ну! Не шалить! Зина! — Окрика тренера достаточно, чтобы та успокоилась. Только шумно ходят бока. — Ну, тихо, тихо, — говорит Елизавета Константиновна, снимая развязки. — Уже всё, тебя никто не тронет. Всё. Тихо.

Я оборачиваюсь, чтобы найти папу, и натыкаюсь глазами на Ульяну. Стоит и не уходит, как будто при-
вязана теперь она. Ни на кого не смотрит. И никто
не смотрит на неё. Люди расходятся, обтекают её, как
заразную.

Кто-то трогает меня за плечо. Папа.

— Разошлись, разошлись! — Елизавета Константи-
новна выходит из денника. — Таня, Мунира сюда, бы-
стро! — И оборачивается к Ульяне: — Телефон родите-
лей давай. Ты одна сегодня пришла? Эй, ты замёрзла?
Живо!

Папа снова трогает меня за плечо, потом подталки-
вает к выходу: пойдём, насмотрелись. Я иду. Ноги как
палки. Папа берёт меня за руку.

— Не говорите маме... — слышу за спиной голос
Ульяны. Не голос — всхлип. — Не говорите... она...
меня... убьёт.

— Думать надо было раньше, — отвечает Елизавета
Константиновна.

Мы выходим за ворота конюшни. В парке влажно,
прохладно и совершенно темно. Под ветром шумят де-
ревья. Где-то вдали звенит бубенчик на шее чьей-то
маленькой собачки. Быстро-быстро и тревожно.

— Пап, ведь её выгонят?

— Не знаю, Кроль.

— Пап, скажи, что её выгонят! Ведь таким людям
нельзя! Им просто нельзя здесь находиться!

— Елизавета Константиновна разберётся.

— Что разбираться? Я всё видела! Я скажу, если
что!

— Кроль, спокойно. Елизавета Константиновна раз-
берётся.

— Но я же всё...

— Слава!

Иду. Молчу. Бубенчик умолк. Шумят деревья. Кто-то свистом зовёт свою собачку.

— Маме не скажем, — говорю, когда мы уже выходим из парка.

Папа молча кивает.

Глава 6

Но на следующее занятие Ульяна приходит, и я не могу поверить своим глазам. Она опоздала, прибежала на построение запыхавшись, вписалась в конец шеренги, и все от неё шарахнулись: все, оказывается, уже знали, что случилось, даже кого не было в тот день. А Елизавета Константиновна как будто и не замечает ничего. Раздаёт нам лошадей как ни в чём не бывало:

— Света — Матрица. Люба — Спарта. Валя — Картинка. Ульяна — Чибис, — дошла до неё очередь, и меня как хлыстом прижгло.

— Елизавета Константиновна! Как так?!

— Что такое? — Тренер недовольно смотрит на меня.

Вопросов с конями никогда не бывает, выбирать мы не имеем права. Я знаю. Но я не могу этого терпеть.

— Можно Чибиса мне?

— Все слышали своих лошадей. Разошлись по денникам.

— Но Елизавета Константиновна! — Меня продолжает жечь. Я просто представить не могу, что Ульяна сядет на Чибу! А вдруг она его потом так же...

— Я не поняла, Валя, ты оглохла сегодня или как? — Елизавета Константиновна уже злится. Всё она понимает, не может не понимать. Я сжимаю зубы. — У тебя Картинка. Если тебя что-то не устраивает, иди в прокат, там будешь лошадей выбирать.

Я поворачиваюсь и бегу вон из манежа.

Картинка и Чибис стоят в соседних денниках. Ульяна уже там. Она чуть щётку не роняет, когда я влетаю. А я замираю на пороге, смотрю на неё — и кулаки сжимаются сами.

— Если ты... если только посмеешь... если хоть один раз... — У меня белеет в глазах. Толстая Ульяна растворяется в белом тумане. Остаётся одно лицо, и я кричу в него, чтобы только не начать её бить: — Тебя надо было выгнать! Выгнать! Кто тебя оставил?!

И отворачиваюсь, ухожу к Картинке. Чищу, седлаю, а сама слушаю, что происходит за стеной.

А там ничего. Тишина.

— Готово? — гремит по конюшне. Это Елизавета Константиновна перед началом обходит нас. — Ждите команды и выходим.

Я стою наизготовку — повод в руках. За стенкой — шевеление: звенят стремяна, кто-то ворочается и шумно дышит. Вешаю повод Картинке на седло, иду туда.

— Ты что, ещё возишься?! — всплёскиваю руками. Ульяна виновато поднимает глаза: в руках седло, конь не чищен. — Выходим через минуту!

— Я никогда... только пони...

И я понимаю: толстая Ульяна не может поднять руки. Не может положить тяжёлое седло Чибисе на спину. Мотаю головой:

— Ох, Ульяна! Да брось ты его! — И она тут же выпускает седло из рук, роняет прямо Чибису под ноги. Конь шарахается. — Ты чего делаешь?! Тихо-тихо, Чибоня, всё хорошо. — И Ульяне: — Щётки тащи, сначала чистить, иначе нельзя.

Но дождёшься от неё, чтобы быстро почистила! Чишу сама, как могу тороплюсь. Вальтрап¹, гель, седло. Всё водружаю, подгоняю, застёгиваю.

— Ты сама-то хоть что-нибудь делать умеешь? — ворчу.

Ульяна молчит, только смотрит и не мешает. Доверчиво смотрит, но испуганно. А у меня в голове: что я делаю? Я сама поседлала ей Чибона!

— Так, всё, подпругу затягиваешь ты!

И выскакиваю из денника. Не думать, лучше не думать об этом — я сама, своего Чибона — сама...

Слежу за ней всё занятие. Однако Ульяна кажется испуганной и слабой. Она тупит, управляет плохо. Чибя быстро чухнул, кто на нём, и начинает издеваться: не слушается, козлит, выскакивает из общего ряда в центр манежа и не хочет возвращаться обратно. Елизавета Константиновна кричит, Ульяна чуть не плачет, но сделать ничего не может. Так ей и надо, думаю мстительно, но обрываю себя: если так пойдёт дальше, достанется Чибю. Конь в итоге всегда виноватее человека.

Но, по счастью, обошлось, и после занятия я, быстро расседлав Картинку, захожу в соседний денник. Чибис стоит под седлом, Ульяна возится с уздечкой.

¹ В а л ь т р а п — покрывало, которое кладут на спину лошади под седло, чтобы избежать натёртостей. Русское название — п о т н и к, но сейчас в спорте используют это немецкое слово.

— Ты чего?! Сначала рассёдлываем. Он же устал!

И я снимаю и уношу седло, потом снимаю уздечку, посмотрев, как Ульяна путается пальцами в ремешках.

— Как ты застёгивала, если теперь расстегнуть не можешь? — накидываюсь на неё.

Чибон наклоняет голову, позволяя стянуть уздечку, сам выплёвывает трензель¹ и смотрит на меня с благодарностью. Даю ему сахар.

— Спасибо... — слышу тихое и не сразу понимаю, что это Ульяна.

— Да не за что. Тебя что, не учили, как всё делать?

— Учили... — Она опускает глаза. — Только я... не умею... на больших.

«Это Чибис-то большой!» — думаю, но говорю другое:

— Да всё то же самое. Ладно, почистишь сама?

Она кивает. Я шагаю к выходу, как вдруг слышу голос Мунира:

— Ульяна? А ну, выходи! Елизавет Константинна говорит: нельзя тебе на конюшне находиться! Выходи давай, да!

Та суетится, теряет щётки. Чувствую, как меня это бесит.

— Ладно, иди давай, я сама, — говорю с раздражением и почти выталкиваю её из денника.

А там уже Мунир. Слышу, как ведёт её, будто под конвоем, и отчитывает в спину:

— А нельзя потому что так. Большая девочка, понимай должна: слабых бить нельзя.

¹ Т р ё н з е л ь — то же, что удила: металлическое (реже — пластиковое) приспособление для управления лошады, вставляется ей в рот. Когда всадник тянет повод, трензель давит лошади на губы или язык, заставляя её подчиняться.

Блин, думаю я, глядя в спину Ульяне из двери денника. Блин. И закрываю глаза. Потому что накатывает то самое чувство, когда я избила мальчика на балете. Прямо к горлу подступает — эта приторная сладость, это удовольствие, какой он безвольный был и мягкий и ответить совсем не мог, так бы и била. Но теперь мне не приятно. Теперь мне тошно от этого чувства, от этого воспоминания.

Так, выходит, Ульяна такая же? Такая же, как я, и эту вот сладость знает?

Ну нет! Мне пять лет было, я правда ничего не понимала ещё. А Ульяне одиннадцать! И она просто тупая! Она просто... она...

Меня сжимает от этого — от воспоминания, от омерзения, от того, что Ульяна, эта толстая, противная Ульяна, может быть чем-то похожа на меня. Точнее, я могу быть похожей на неё. Точнее...

«А что, если бы на месте того мальчика или на месте Зины оказался кто-то, кого я люблю? — вдруг вспыхивает мысль в голове. — Например, Чибис?»

Меня прямо прижигает, и я бросаюсь на его тёплую пятнистую шею.

— Чибочка, милый, всё хорошо! Тебя никто не тронет! Никто! Пока я здесь.

Глажу его, обнимаю, даю припасённую морковку. Чибис хрумкает и смотрит на меня чёрным глазом.

И я чувствую, как меня отпускает давно пережитый стыд.

Так и пошло: перед занятием я помогаю Ульяне, собираю вместе с ней лошадей и учу седлать. У неё всё из рук сыплется, и меня это раздражает, но я давлю

это в себе, говорю себе: зато, пока я здесь, она никого больше не станет бить, — и повторяю опять и опять: какой щёткой чистить вначале, какой потом, как правильно расчищать копыта, как держать трензель, чтобы конь сам его взял в рот... Ульяна старается, но у неё получается не очень. У неё вообще всё не очень получается: на занятиях она тупит, на конкуре почти всегда только прыгнет — сразу падает. Поднимается, лезет обратно. И падает снова.

— Это потому, что она тортик не приносит никогда, — говорит Таня после того, как Ульяна навернулась на занятии раз десять и я ей об этом рассказала.

Мы сидим с ней на манеже, пока занимается папа.

— А зачем? — не понимаю я.

— За падение. Когда падаешь, надо обязательно принести тренеру торт. Чтобы больше не падать.

— Постоянно же кто-то падает. Елизавета Константиновна растолстеет! — смеюсь.

— Ты за неё не беспокойся. Примета верная, проверено сто раз.

Я пожимаю плечами. Я не хочу говорить, что сама ничего не приносила, когда упала, мне никто и не сказал, что надо. Но я замечала, что девчонки то и дело таскают тренеру кто конфетку, кто пирожное, кто шоколадку. Я думала, это просто так. А оказывается, вон оно что.

Надо Ульяне сказать. Не то чтобы я в это поверила — я вообще ни в какие приметы не верю, папа говорит, это ерунда. Но так, на всякий случай.

И в следующий раз, когда Ульяна свалилась раз сто за тренировку, я точно решаю: надо сказать. Но пока рассёдлываю Чибиса, пока собираю коня для папы,

она уходит из конюшни. Догнать её удаётся только в раздевалке.

Там пусто, сидит один Антон, Наташин парень. Он её часто ждёт с тренировки и меня ужасно бесит. Потому что противный. Он высокий, с длинными руками и ногами, и лицо у него прыщавое. Но бесит не поэтому, конечно. Просто он весь какой-то странный, и ухмылочки у него неприятные, я их не понимаю. Вечно усядется на диване в центре, раскинет свои ножищи так, что не пройти, и уставится в телефон. Смотрит какие-то видосы и гогочет. И волосы у него всегда сальные, и голос такой же — сальный, скользкий, и пахнет от него всегда куревом и кислым потом, при том что он не после тренировки. Пот — ладно, это раздевалка, сюда все мокрые возвращаются. Но курит только он. И ещё Наташа. Перед занятиями и после, прячутся за конюшни, Мунир их гоняет, чтобы не подпалили соломому, а они опять. Больше у нас никто не курит, и этот запах — крепкого табака и пота — у меня прямо слезу вышибает, какходишь в раздевалку.

Но сейчас тут ещё и Ульяна. Стоит у окна вполоборота, делает вид, что тоже что-то смотрит в телефоне, а сама не сводит глаз с Антона. А он не глядит на неё, жуёт чего-то и ржёт, как всегда. Из телефона неприятные звуки, резкие и громкие.

— А, вот ты где. — Шагаю к Ульяне. Она вздрагивает. В глазах — страх. — Эй, это я, чего испугалась? — Говорить приходится громко, чтобы телефон перекричать. — Я тебе вот что сказать хотела: есть, оказывается, примета — если упал, надо тренеру тортик принести, чтобы больше не падать. Ты не знала? Эй?..

Глаза Ульяны делаются всё больше с каждым моим словом, и мне кажется, она сейчас начнёт реветь. Да что происходит-то? В этот момент Антон шуршит обёрткой — он лопаёт шоколадку, — и Ульяна вдруг вздрагивает всем телом и смотрит на него с каким-то прямо отчаянием.

— Ульяна? Эй!

Тяну к ней руку, а она шарахается и, кажется, хочет уйти. Суетится, начинает застёгивать куртку, а в руках телефон. Пытается убрать его в карман, проносит мимо, тот падает на пол и разваливается на части — батарея в одну сторону, корпус в другую. Я бросаюсь подбирать, поднимаю глаза — а она стоит, как оглушённая, руки опустились, не шевелится и как замороженная смотрит на Антона.

Который лопаёт шоколадку. Хрустит обёрткой и не смотрит на нас вообще.

— Да ты голодная! — меня вдруг осеняет. — Ты в школе не ела ничего, что ли?

Ульяна переводит на меня глаза. Большие и испуганные. Нет, не испуганные даже — расширенные от ужаса, панические глаза. И мотает головой.

— И перед тренировкой не ела? Да ты что, беги домой поешь!

— Нет-нет-нет... — начинает бормотать она. Судорожно, как будто хватается ртом воздуха.

— Чего нет? Мама дома нет? Еды нет?

— Нет-нет-нет...

— Слушай, я не понимаю тебя. Сейчас, погоди.

Лезу в свой шкафчик. У меня в сумке обычно зерновой батончик припрятан, мама даёт, а я не всегда съедаю, просто таскаю с собой в качестве НЗ. Непри-

косновенный запас. Что ж, пришло время к нему прикоснуться.

— На вот, — протягиваю Ульяне. — Вода есть? А то он сладкий.

И тут с ней что-то происходит: она сжимается, морщится, краснеет, как будто ей и правда воздуха не хватает, — и вдруг как начнёт реветь!

— Господи, Ульяна! Да ты чего?!

Но она рыдает и не может остановиться. А потом как повернётся и как со всей дури запустит свою сумку в шкафчики! Они железные, прямо так и ухнули.

— Твою мать!

Это Антон. Он только сейчас нас заметил. Вскочил, глаза лупит и не знает, что сказать. Его телефон хрипит и плюётся звуками. Он, наверное, решил, что Ульяна в него метила. А она уже оседает, сжимается у стены — и ревёт, ревёт как белуга.

— Идиотка, что ли?! — вопит Антон и выскакивает за дверь.

А я стою над Ульяной в растерянности и не знаю, что теперь делать. И что вообще происходит, и виновата ли в этом я.

— Да ты чего? Ульян, успокойся! Ну, чего случилось? Господи, да прекрати же ты!

Глажу её по плечу. Чувствую, что её трясёт. Кошмар!

— Иди сюда. Сядь. Ну, тихо. Тихо ты. Успокойся. Что происходит?

Отвожу её на диван. Послушная, как кукла. Ревёт, трёт глаза пухлыми ладонями.

— Нельзя... мне... ничего... нельзя, — начинают выплёскиваться из неё слова вместе со слезами. — Меня мама... убьёт! Если я... если тортик... еда какая... если

сьем... Она... чтобы я ничего... и в школе... нельзя!
И денег не... не даёт мне... совсем. Чтобы не ела!

— Да как же так-то? Это же неправильно, целый день же нельзя...

— А потому что я толстая! Толстая! Жирная! Сви-
нья я! Вот... вот кто... я-а-а-а!

Воет и долбит в диван кулаком. Под нами ноют пружины. Во мне тоже всё ахает, я шарахаюсь, и тут же что-то в голове вспыхивает: так вот почему она избила Зину! Нет, она совсем не как я, никакого стыдного удовольствия и приторной сладости, — это было отчаяние, такое вот сильное, как сейчас.

И меня враз отпускает, всё раздражение, вся ненависть к Ульяне вдруг проходит. Она не плохая. Ей самой плохо.

А она ревёт в голос.

— Ну, тихо. Ничего ты не жирная, ещё похуже бывают. А ты нормальная. И можешь похудеть ещё, легко...

Я говорю, а сама понимаю, что Ульяна меня не слышит. Не слышит, не понимает, до неё просто не доходят мои слова, как за стену.

— И меня отсюда... чуть не... не выгнали... когда... он сказал: совсем... совсем кормить не будем. Пусть хлеб жрёт. Скотина. Сказал...

— Да кто? — Я совсем её не понимаю. Какие-то обрывки вырываются из Ульяны с рёвом, не слова, а крошево, ничего не разобрать.

— Дя... дя То... Дядя Толя. Ма... муж.

— Дядя Толя — мамин муж?

— Да! А ма... ма... ска... чтоб я на кухню даже не заходила... что я... двигаться должна. И они делают всё, а я не понимаю!

— Слушай, ну так тоже ведь нельзя — не кормить человека. Это неправильно.

И больше не знаю, что сказать. Потому что за всей этой словесной крошкой что-то такое проступает, что я не могу до конца понять. Я чувствую, что оно нехорошее, какое-то странное, но что — лучше не думать.

А что делать? Стоять над Ульяной, ждать, пока проревётся, и головой качать? Потому что я даже успокоить её не могу по-нормальному. Погладить, обнять. Потому что она мне всё равно неприятна. Протянуть руку и её коснуться — нет, это просто невозможно. И вот я хоть и стою над ней, мне на самом деле противно, и что делать, непонятно, и вместо жалости у меня в груди какой-то болезненный комок.

— Мама говорит, если я буду жрать... меня все... все дразнить бу-у-уду-у-ут!

— Да кто тебя будет дразнить? Тебя здесь дразнил кто-то?

— Нет. — Хлюпает носом. Глядит на меня во все глаза. До неё это как будто только доходит.

— И чего ты боишься тогда?

— А вдруг? Меня везде дразнят. В школе дразнят. Везде. Вдруг будут?

— Не будут. В нашей группе точно не будут.

— Почему?

Она перестаёт плакать. Глядит на меня. И хочется её жалеть, и сил нет. Она правда некрасивая, но такая вся несчастная. Но разве для жалости нужна красота?

— Я тебе обещаю. Если что, говори мне. Я разберусь.

А сама думаю: вот зачем? Зачем я это говорю? Неужели мне есть дело до этой Ульяны? Почему я должна её защищать?

Но я уже сказала. Ничего не исправишь. Ужасная ответственность ложится мне на плечи, я прямо чувствую её тяжесть. И сделать уже ничего нельзя.

Ульяна больше не плачет.

— Успокоилась? — говорю. — Вот и молодец. Иди в туалет, умойся.

Кивает. Встаёт и плетётся туда, не видя ничего. Слышу, как закрывается за ней дверь, как шипит, вырываясь из крана, вода.

И в этот момент в раздевалку входят.

— Так нечестно! Ты в прошлый раз ездила, сегодня я должна была!

Старшая группа возвращается с тренировки. Входят две девчонки, хлопают дверью. У меня аж сердце ухнет — как вовремя! Чуть раньше бы пришли — а тут я с Ульяной. Не хватало, чтобы нас видели вместе. Нет, никакой Ульяны, чтобы я и Ульяна — рядом?! Никогда!

Открываю свой ящик, делаю вид, что копаюсь в вещах. Но девчонки меня не замечают.

— Ничего не знаю. Это не твоя лошадь!

— И не твоя! Купи себе и ездь сколько влезет!

— Я вообще раньше тебя пришла! Тебя ещё в группе не было, а я уже ездила!

Кажется, назревает скандал. Стоят друг напротив друга и орут. Того и гляди вцепятся, как две кошки.

Но тут распахивается дверь — и входит Наташа со всей своей свитой. За ней всегда толпа девчонок увиливается, в рот заглядывают, над её шутками смеются. Я сначала не понимала, почему так, но потом догадалась: они её боятся. Наташа самая в их группе наглая,

палец в рот не клади. Ну и с Антоном везде конечно же, куда без него. Подождал на улице, покурил — вон как от него табаком снова воняет. И обратно, на наш диван. Рухнул, аж пружины заскрипели. И лыбится.

Но эти двое как будто не видят их.

— Да ты даже стартов никаких не выиграла, тебе Золушка — как корове седло!

— Ты совсем, что ли?! Я весной третья на конкуре была!

— Ха! Третья! Не смешите меня!

— Тихо! — гаркает вдруг Наташа так, что те моментально прекращают орать и смотрят на неё. Садится на диван — Антон подставляет руку, чтобы обнять её, — и, устроившись, как перед телевизором, развалившись, продолжает: — Чего срач устроили?

Девчонки молчат. Глядят на неё. И страшно, и неприятно, что она влезла.

Одна не выдерживает:

— А она хочет на Золушке всё время заниматься!

Вторая взрывается:

— А она! А она! Она колдует зато!

— Что-о?! — возмутилась первая и аж покраснела.

— Что-что! Я сама слышала! Как расчёсывает Золушку, шепчет, такая: «Я твоя мама, слушайся только меня. А её — нет». Хочешь, чтобы она меня скинула, да? Этого добиваешься?

— А кто ей красную нитку в хвост привязал? Думала, я не замечу, да?

— Что — нитка? Это просто, чтобы её... ну, не обижали чтобы... — Видно, что вторая тоже смутилась.

— Не обижали! Это чтобы на ней никто не ездил, кроме тебя. Я что, тупая, не знаю?

Я слушаю и обалдеваю: это они что, всё серьёзно? Но остальные не смеются. Возмущены, да, но как будто верят. Как будто это нормально у них.

— Что ещё за индивидуализм такой? — говорит Наташа и поднимает брови. Они у неё красивые, густые, чёрные. Она вообще красивая девчонка. Была бы. Не будь такой злой. — Лошадь прокатная так-то, да.

— А вон Анжеле можно всё время на Понче, а нам нельзя! — кричат обе.

— Анжелке много чего можно, у неё папа депутат, — ухмыляется Наташа. — Я, может, тоже хочу ездить только на Изумруде, и ничего, молчу, что его всё время Танюхе дают. Танюха же у нас лучший конник, так ей и лучшего коня. Так?

Вроде бы то, что она говорит, справедливо. Но в её словах слышится злоба. И я вижу, как девчонки вокруг неприятно скалятся.

— Ну а мне?.. А нам?.. — теряются те две.

— А вам по шам, — говорит Наташа, и Антон хрюкает, а свита подхихикивает. А Наташа дожидается, чтобы просмеялись, и говорит спокойно: — Договоритесь ездить по очереди, делов-то!

— А мы договаривались уже! — кричит одна.

— Ага, а сегодня ты третий раз подряд на ней была! — кричит вторая.

И начинают снова друг на друга орать, забыв о Наташе и своём страхе перед ней. Сил нет, как громко. И сил нет, как неприятно.

— Ма-алча-ать! — вдруг гаркает Наташа так, что все вздрагивают.

И поднимается. Маленькая, крепенькая, как огурец, с крутыми бёдрами и плечами — она ниже обеих девчонок на голову, но наглости в ней, как в самой бодрой лошади. Так что перед ней цепенеют все.

— Как я скажу, так и будет, поняли? Меняетесь через раз. Вторник — одна, четверг — вторая. Конкур — меняетесь по неделе. Понятно? А узнаю, что мухлюете, — нарвётесь. Обе.

И показывает кулак. Свита за спиной обмирает. Антон похрюкивает.

Только первую девчатку это не останавливает:

— Ты, что ли, тут тренер, уже и лошадей выдаёшь?! Я Елизавете Константиновне скажу!..

Но не успевает даже закончить: Наташа вдруг прыгает на неё, сминает и вжимает в стенку с ящиками. Они гремят, внутри что-то звенит и сыплется. «Второй раз за сегодня», — думаю я.

— Я чо сказала? Глухая? А будешь кому звездить — по звезде и получишь. Сечёшь?

Наташа цедит это сквозь зубы, навалившись на девчатку. Та не дышит. И все вокруг тоже. Я слышу, как у меня сердце бьётся, где-то не в груди уже — в голове.

И непонятно, что было бы дальше, но вдруг распаивается дверь и влетает Анжела. Волосища во все стороны, шлем набекрень:

— А ну, быстро, вернули на место! Резко, я сказала! А то папе позвоню, он из вас душу вытрясет!

Орёт ни на кого и сразу на всех.

— Желка, ты чего? — удивляется Наташа. Она уже отпустила девчатку, смотрит на Анжелу с ухмылкой. Вроде как не принимает её всерьёз.

— Ногавки!¹ Видишь, вот! — Анжела протягивает новенькие фиолетовые ногавки. Очень красивые, фирменные. Две — переднюю и заднюю. — Я на заборе вешала, чтобы просохли, — и всё, нет. Спёрли!

— Чо, не пару, что ли? — Наташа делает большие глаза и фыркает.

— Охренеть, как смешно! — Анжела дует губы.

— Да кому они нужны, непарные? — И смотрит почему-то на Антона. Вроде поржать вместе.

А тот не понимает, пожимает плечами, ему эти наши ногавки — что одна, что все четыре.

— Да мне по фигу, мне вернули чтобы! — взвизгивает опять Анжела.

— Да упали, нет? — предполагает кто-то из угла.

— Обыскала уже всё. Танюху заставила за забор залезть. Ничего! Сто пудов — спёрли.

— Ну, это не наши, — говорит Наташа спокойно и возвращается на диван. Развлечение кончилось, Анжелу она в грош не ставит.

— Откуда знаешь?

— Конники бы пару взяли. А это так, кто-то мимо проходил. Мало ли народу шатается.

— Да кому нужны ногавки, если не конник?

Наташа пожимает плечами.

— Мне их папа неделю назад купил, — заводится Анжела. — Пять штук сто́ят. Я ему чего скажу? Сначала телефон, теперь вот! А! — вдруг ахает она, как будто до неё что-то доходит. — А может, телефон тоже тут украли?

¹ Н о г á в к и — специальные приспособления, похожие на жёсткие чехлы, которые надевают на ноги лошади для защиты нижних суставов при тренировках и на соревнованиях.

Телефон у неё пропал неделю назад, она об этом на всю конюшню растрезвонила. Правда, не о том, что потеряла, а о том, что папа сразу новый айфон купил. Прошлому-то год был, само собой.

— Анжелка, фоник ты в школе посеяла, сама говорила, — начинает Наташа как-то лениво. — А ногавки твои никто из наших точно не брал. Мы только с трени идём. Тут мелкие были. У них спроси.

И кивает на меня. И все ко мне оборачиваются — только сейчас заметили. Я чувствую, что у меня вспыхивает лицо. Этого ещё не хватало! Но не успеваю ничего ответить — сзади открывается дверь и протискивается Ульяна.

А я и забыла про неё.

— Сцена «Не ждали», — говорит Наташа противным голосом, а Анжела как видит, так и бросается на Ульяну, как беркут:

— Это ты! Ты спёрла! А ну вернула взад! Сейчас же!

И хватает её своими наманикюренными когтями, и трясёт, так что бедная Ульяна того гляди рухнет на пол.

— Я не брала, не брала! — доносится до меня.

— Охренела совсем! Лошадей бьёшь, вещи тыришь! Корова жирная!

— Нет! — пищит Ульяна.

И тут у меня в голове что-то щёлкает.

Я до этого стояла, как будто это не я — чучело огородное. И вдруг мне как шпоры в бока всадили, и я шагаю к Анжеле, забыв всякий страх:

— А ну отпусти! Не трогай её!

— Чего?! — Она оборачивается, и я вижу густо накрашенные ресницы, большие злые глаза.

— Ничего она у тебя не брала!

— Тебя кто сюда звал?

— Э, погодь! А ты откуда знаешь? — Это уже Наташа с дивана. Проснулась.

— Она со мной всё это время была. Тут, — бросаю ей и, пока Анжела обезоружена, выдёргиваю Ульяну за руку. Ладонь у неё потная, мягкая. Мне противно её держать, но уже некуда отступить.

— Докажи! — кричит Наташа с дивана.

— Вон он докажет, — киваю на Антона.

Он корчит рожу и разводит руками, типа не при делах.

— А может, это ты и спёрла? — говорит Анжела.

— Сдалось мне твоё барахло! — отвечаю с таким презрением, что сама себе удивляюсь.

— Я тебе покажу «барахло»! — вопит Анжела и шагает на меня.

Но я отскакиваю, Ульяна за мной, мы налетаем на свиту за спиной, те шарахаются к двери.

— Облезешь, — говорю, а сама соображаю, как отсюда выбираться: эти у двери, не протолкаться. В окно? В туалете есть окно, я вспоминаю, что Таня рассказывала, как заперлась однажды случайно и вылезла через него — оно открыто, оказывается, ну, можно открыть изнутри.

Главное, прорваться к дальней раздевалке и оттуда в туалет.

Запереться там и потом вылезать. Продраться в простенке между забором. И к выходу.

И утащить с собой Ульяну. А то они её тут побьют.

Но я ничего сделать не успеваю.

Потому что — как в фильме — открывается дверь, и входит папа.

Всех сразу сдуло — вроде они просто так здесь. Одна я, как дура, торчу в центре комнаты, держу за руку всклокоченную, зарёванную Ульяну.

Но папа, кажется, что-то понял. Почувствовал что-то.

— Сла... Валя, ты чего? Я звоню, звоню, а ты не отвечаешь.

— Я звук на тренировку отключала, забыла включить, извини, — говорю каким-то натужным голосом, а сама смотрю не на него — на них.

Но они делают вид, что обо всём забыли.

— Домой идёшь? — Папа окидывает взглядом комнату.

Никто даже не смотрит в нашу сторону.

— Иду, иду. — Хватаю сумку. Киваю Ульяне, она подбирает свою — и так мы вместе и выходим: сначала папа, потом я, потом Ульяна. Я всё ещё держу её за руку.

— Что там было? — спрашивает папа на улице.

— Да всё нормально, пап. Так. Мы просто общались, — говорю как можно непринуждённой и громче. Чтобы слышали в раздевалке, что я не собираюсь стучать.

Делать мне нечего — на вас стучать!

Глава 7

Я ничего не сказала папе — впервые, кажется, ничего ему не сказала, — но он сам всё узнал: Анжела повесила объяву в группе КСК¹ про свои несчастные

¹ К С К — конноспортивный клуб.

ногавки, и там такое началось! Мы с папой читали и поражались. Тут же появились люди, у кого что-то там пропало: у одной девочки — вальтрап, ещё летом, она его тоже на забор вешала сушиться, совершенно новый; у кого-то пропали хлыстики — ну, на этих даже внимания не обращали, нет ничего проще, как потерять чёрный хлыстик в плохо освещённой конюшне. А одна женщина из проката написала, что у неё кошелёк пропал. Она ящиком не пользуется, вещи на вешалке оставляла, и вот — кошелек нет.

Тут родители, конечно, заволновались, стали писать, что надо камеры, слежение, охрану, все дела. Хозяйка подключилась, принялась успокаивать. Мол, охрана у нас — это Мунир, а камеру незачем ставить — поставишь её, а у монитора кто-то сидеть должен, и кто? В общем, сказала, не оставляйте вещи без присмотра, не давайте детям с собой ничего дорогого, а мы сделаем всё, что в наших силах, — и бла-бла-бла...

— А ведь, наверное, это кто-то из своих, — говорит мама.

Мы с папой очень бурно это всё обсуждали, пока читали. А у мамы тем временем в голове уже начал складываться детектив.

— Да ты что! Чтобы наши! Да ты смеёшься! — возмущаюсь я.

— А кто ещё? Человек должен там регулярно бывать. Просто так с улицы зайдёшь — ещё и не сообразишь, что это вообще такое — ногавки эти ваши, вальтрапы.

— Ну, про кошелёк сообразишь, — говорит папа.

— Кошелёк — это да, это кто угодно может взять, — соглашается мама.

— А вальтрап продать можно, — говорит папа.

— Зато ногавки непарные — кому они нужны? — напоминаю я.

— Ногавки могли просто так стянуть, по незнанию, — говорит мама.

— Тогда получается, там два бандюгана орудуют — местный и случайный, — смеётся папа. — Местный украл вальтрап, а случайный — кошелёк и ногавки. Переднюю и заднюю.

— Зашквар! — смеюсь я тоже. Слишком понятно, что всё это ерунда: два вора на одну нашу маленькую конюшню — перебор.

Мама морщится:

— Велеслава, как ты выражаешься!

— А чего? Все так говорят!

— А тебе непременно хочется быть как все?

Я закатываю глаза — сейчас начнёт свою любимую песню, что в человеке ценна индивидуальность, и всё такое. Хотя так говорят не все, конечно, а только Наташа, и на неё мне точно быть похожей не хочется, но не отступать же сейчас.

Однако мама, кажется, обо мне не думает, она всё ещё распутывает детектив. Ушла в свои мысли, качает головой.

А потом выдаёт:

— Надо будет туда сходить. Посмотреть, что у вас там происходит.

У меня челюсть отвисает. А папа кивает как ни в чём не бывало:

— Давно пора.

Но я-то знаю маму: она же придёт не просто так, а с инспекцией, чтобы удостовериться, что там ничего



плохого нет, что мне ничего не угрожает, что там все нормальные девочки. У мамы пунтик: она уверена, что все кругом грубые и ужасные, одни мы такие хорошие каким-то образом спасаемся в этом море. Она поэтому меня и из школы забрала. Потому что стала думать, что там меня испортили. Как Велька родился и как она поняла, что он такой необычный и талантливый, у неё в голове щёлкнуло — дескать, я-то такая же на самом деле должна быть, а просто она меня просмотрела, всунула в систему. А надо было искать индивидуальный подход.

Вот с тех пор и ищет. И не понимает, что я просто бездарь. Так что никакой подход меня не спасёт.

Откладывать в долгий ящик своё посещение мама не стала. Уже в следующий раз возвращаюсь я после тренировки, веду Чибиса, вся всклокоченная, толстовка расстёгнута — жарко, и вдруг вижу — по конюшне кто-то носится. Бегаёт туда-сюда, не может остановиться.

— Осторожно, — кричу, — лошады!

И обалдеваю.

Потому что это Велька. В жёлтом комбезе, смешной, как цыплёнок. Услышал, замирает на месте. Смотрит на меня. Потом на Чибиса. Запрокидывает голову — и расплывается в улыбке. А потом идёт к нему.

— Осторожно! — Мама кидается из-за поворота, как коршун. Хватает Вельку за капюшон и оттаскивает от коня. — А ты куда глядишь? — Это уже мне.

— Да ничего он не сделает, — и иду мимо неё в конюшню.

Слышу — мама следом. Идут за мной, и все, кто нам встречается, на них оборачиваются. Ну, на маму

езде смотрят, конечно, но на конюшне она выглядит особенно удивительно. Просто она так одевается — ярко, необычно. Длинная юбка, пальто из разноцветных нитей, ярких, контрастных, и само пальто такое странное — это называется «в стиле бохо», она сама шила, ужасно красивое осеннее пальто; высокие рыжие сапоги, такой же рыжий шарф и шляпка. Немного старомодно, есть в ней что-то от Мэри Поппинс, но очень красиво, конечно.

Правда, смотрят всегда не только на маму. На Вельку тоже.

— Вам сюда нельзя, — говорю строго, не оборачиваясь. — У нас правило: посторонним не входить. Особенно Вельке, он маленький. И папы ещё нет. Он через пятнадцать минут придёт.

Слышу — остановились на пороге. Мама держит Вельку за капюшон. Тот начинает хныкать. Сейчас ведь заверещит во всю ивановскую. Выглядываю — правда, бьётся уже у неё в руках. Бедный цыплёнок. Надо ему лошадей показать, раз уж мама его привела. У нас, конечно, запрещено проводить маленьких. Но ведь он будет не один, а со мной. И хозяйки на конюшне нет. Да и вообще ничего не случится.

— Сейчас! — кричу. — Вель, я расседлаю и тебе всё покажу.

Но он уже ревёт. Прямо в лучших своих традициях, того гляди рухнет на землю и начнёт кататься. Мама его оттаскивает от конюшни, уже сама не рада, что пришла. А мне что делать? Я же не могу Чибиса бросить.

— Я сделаю, — вдруг слышу рядом.

Оборачиваюсь — Ульяна.

— Ты? А ты справишься?

— Я... помогу. Можно? — Смотрит снизу вверх, аж вся покраснелась. Так ей хочется мне помочь.

Я сомневаюсь секунду, а потом отдаю ей повод. Нет, она ничего Чибису не сделает, теперь я понимаю, что ничего.

А мне надо быстрее бежать выручать Вельку.

Они с мамой уже дошли до забора. Велька упирается всеми силами. Посетители, все эти мамочки-бабушки с малявками, кто кроликов во дворе конюшни пришёл кормить, смотрят на него во все глаза — так-то ведь он уже большой, никто понять не может, почему он так ведёт себя.

— Ну-ну, и чего кричим? — Я сажусь перед ним, тру ему щёки ладонями. — Чего плачем? А позвать не судьба?

— Мы пойдём, — бормочет мама. — Мы не думали... — И оборачивается загнанно. Видно, как ей неудобно, как она не ожидала, что всё так выйдет.

И вдруг я себя чувствую дома. И они у меня в гостях. И это всё моё, я им сейчас показывать буду. И сделаю так, что Велька не будет больше плакать. А будет только смеяться. Он ведь животных любит. И чувствует по-другому, совсем не так, как мы все.

Нет, очень правильно, что мама с ним наконец пришла.

— Идём, — говорю и беру его за руку. Он хлюпает носом, но уже не плачет. — Пусти, — говорю маме.

— Ты же сказала: нельзя. — Она ещё сомневается.

— Со мной можно. — И Вельке: — Пойдём, на лошадок посмотрим.

И как только мы заходим на конюшню, он обмирает. Сначала обмирает, а потом начинает что-то лопотать. Бросается к денникам, приподнимается на носочки и заглядывает за прутья. Смотрит на них. Ахает.

— Ты только аккуратно, — говорю, — не пугай их. Лошадки боятся, а когда они боятся, могут укусить.

Идём по конюшне, заглядываем в денники. Вот Чибис, Ульяна уже его расседлала и чистит. Вон Картинка. Вон машет хвостом пони Ласточка. Вон Спарта жуёт и глядит на Вельку чёрным глазом. Вон ещё пони. И ещё. И ещё. Многие денники открыты, коней чистят и рассёдлывают, и я крепче сжимаю Велькину ладошку, боюсь, как бы он к ним не бросился, но он всё понял, он только заглядывает, ахает и что-то бормочет.

И кони оборачиваются, смотрят на него — и, кажется, понимают. Или мне очень хочется думать, что они понимают его. А ещё очень хочется услышать музыку. Ту самую, какая бывает вокруг Вельки. Вдруг, думаю, это будет особая, лошадиная музыка. Как была у дуба, только другая.

Но не слышу ничего. Вообще ничего.

Обойдя маленькую конюшню, мы идём к большой — и по дороге встречаем папу. Велька молча обнимает его за ноги, вжимается лицом в живот.

— Какая встреча! — Папа треплет Вельку по голове, но я вижу, что он сейчас сам не свой. — Что, седлаться поможешь? — подмигивает мне. — Догадайся, кого мне сегодня дали?

— Изумруда?

— Бери выше.

- Пинг-Понга?
- Ещё выше.
- Да он самый высокий.
- Нет. Настоящий альпинистский конь.
- Эльбрус!
- Бинго! — Папа щёлкает пальцами.

А я не могу поверить. Что так бывает. Что папе дали лучшего на конюшне коня! Моему папе! Настоящего! Спортивного!

— Папа, ты супер! — Вешаюсь ему на шею, и теперь мы оба его обнимаем — я сверху, Велька снизу.

— Да я-то тут при чём? — ухмыляется он, но видно, что рад. И ещё — волнуется. Само собой, такая ответственность!

— А мне может кто-нибудь объяснить, что происходит? — спрашивает мама.

— Ой, ты объясни, а я побегу седлать.

И со всех ног несусь в амуничник. Уздечка, седло. Вальтрап у него свой, именной. Щётки... Нет, я не верю, я просто не верю — папа поедет на Эльбрусе!

Но у самого денника мне становится страшно: вот они, злые глаза, следящий взгляд. Но я решительно вхожу.

— Лёшенька, какой ты высокий, какой красивый! — приговариваю, начиная чистить.

Конь в холке выше меня, шерсть лоснится — видно, его и кормят лучше, чем остальных. Ноги в чистых бинтах, хвост подстрижен, чего с другими никогда не бывает — они всегда лохматые. Но в остальном как всякий другой конь. Спокойно позволил себя почистить, спокойно даёт надеть уздечку. Мне уже не

верится, что это тот самый Эльбрус, который норовит укусить из денника.

— Ты ж умничка! — приговариваю. — Работать идёшь, понимаешь.

Пока я седлаю, папа с мамой стоят и смотрят. Папа держит Вельку на руках, поэтому помочь не может. Велька тянется, гладит коня по морде. Мама против, конечно; папа разрешает. Велька причмокивает и лепечет. Мне слышится «гора» и ещё «птичка» — но почему именно так, не пойму. Потому что Эльбрус и потому что летает?

Скоро всё готово, и я выхожу из денника. Папа ставит Вельку на пол, сам входит, принимает у меня повод. Мама хватается снова за жёлтый капюшон, как за спасение.

— Вам лучше уйти, — говорю, — сейчас старшая группа коней поведёт.

Но поздно.

— Поберегись! — слышится окрик.

И входят кони. Топочут по полу, расходятся по денникам. Я шагаю к стене, мама шарахается то в одну, то в другую сторону, пропуская их, прижимая к себе Вельку. Он верещит и смеётся.

— Осторожно! — слышится голос Анжелы, и входит Пинг-Понг.

Идёт устало, низко кивает головой. Самый старый конь на конюшне, сразу видно. Но до денника не доходит — вдруг Велька, пискнув, выдёргивает у мамы из рук капюшон и бросается ему под ноги. Хватает, обнимает и прижимается, как к папе недавно.

Кажется, закричали все разом: и мама, и я, и Анжела, и даже папа, хотя он обычно не кричит.

— Веля! Веля, так нельзя ни в коем случае! Это опасно, ты разве не видишь? Отпусти, слышишь? Отпусти лошадку и пойдём.

— Эй, отцепись! Сейчас же! Фу, да что за гадость! — Это уже Анжела. Орёт, прямо вся сморщилась, глядя на Вельку, настолько он ей противен.

— Девочка, ты соображаешь, что говоришь? — Мама, возмущённая.

— При чём тут я? Вы лучше сами следите за своим... инвалидом!

— Что?!

— А что, я не вижу, что ли! — фыркает Анжела. И снова на Вельку: — Отцепись!

Но тут заглядывает в конюшню Елизавета Константиновна:

— Выходим!

И цокают уже другие копыта, и папа выводит Эльбруса, и из других денников идут другие люди и кони — а Велька всё так же стоит, не дышит.

А я гляжу на него и понимаю. Что он делает — вдруг понимаю.

Ведь Пинг-Понг старый. И он устал. Он, как дед, стоит и вздыхает. Анжелка, когда ездит, его не бережёт, а ездит она так себе. А это значит, достаётся коню. Вот он и устал. И Велька его жалеет. Он и папу жалел, потому что тот волновался очень. Велька всё это чувствует. И ему разницы нет, человек перед ним или животное. Он понимает всё лучше и быстрее нас.

А мама говорит, у него не развита эмпатия. Эх, мама...

— Вель, пошли. Пусть лошадка идёт домой, отдыхает. — Подхожу и беру его за руку. Он не сразу, но

всё-таки отпускает коня. — Идём. Сейчас папа прыгать будет. Идём, посмотрим.

И увожу его. Слышу, как мама что-то продолжает втирать Анжеле, её ужасно задело, что она сказала про Вельку. Хотя той по барабану, я уверена, что бы мама ни говорила.

На манеже мы садимся на места для зрителей, мама берёт Вельку на руки. Он лопочет без умолку. И мне даже интересно, что он там такое говорит, как это всё преломляется в его мире, но я не слушаю: папа едет на Эльбрусе, и всё моё внимание сейчас там.

Папа едет на Эльбрусе, и это ужасно красиво. Лёша высокий, буро-гнедой с чёрным ремнём по хребту, чёрным хвостом и гривой. Папа сидит с прямой спиной и старается держаться спокойно, хотя видно, как он сосредоточен — и лицо, и всё тело; он прислушивается, ловит каждое движение коня, пытается его понять.

И Лёша тоже пытается понять, кто на нём. Прядёт ушами, машет хвостом. Сразу заметно, что он не из послушных прокатных коняшек, которых чуть пнёшь — они катятся. Нет, Лёша не слушается, сдаёт задом, пытается козлить, переходит в шаг с рыси и не поднимается вовремя в аллюр.

— Он его не дожимает, — слышится рядом шушуканье.

— Эх, тут надо заранее шенкеля дать...

— Ну, что ты хочешь, — первый раз.

Я оборачиваюсь — оказывается, все зрительские места забиты, как на соревнованиях. Девчонки услышали, что в прокат дали Лёшу, пришли посмотреть.

А ещё прячутся на маму в её рыжей шляпке. Возле меня сидят Ульяна и Даша с Аглаей из нашей группы. Переговаривались, но заметили, что я на них обратила внимание, — улыбаются, машут лапками. У выхода — Анжела и Наташа с компанией. Анжела кивает на нас с Велькой и прыскает Наташе в самое ухо. Та морщится и отстраняется. Ничего не говорит.

Открывается дверь. Протискивается Таня. Видит меня и идёт сюда. Мне приятно, что она не осталась там, с Наташей и остальными.

— Ну как? — спрашивает, склонившись.

Сесть рядом негде: с одной стороны — мама, с другой — Ульяна. Я бы, конечно, поменяла Таню на Ульяну, ну да что делать, не гнать же.

— Да ничего, — говорю неопределённо. — Сложный конь, да?

— Есть немного, — кивает Таня. — Он уже столько народу поломал! Одной девочке два зуба вышиб, другая слетела — шею сломала.

Мама ахает. Велька перестаёт лопотать, смотрит на Таню во все глаза — неужели понял?

А Таня не догоняет, продолжает как ни в чём не бывало:

— По-настоящему сломала, да! Полгода в больнице лежала. Нет, всё кончилось хорошо, вы не беспокойтесь! И это не наша группа была, не Елизаветы Константиновны. Наши так сильно не бьются. Но его потому из секции и сняли, только самым прошаренным дают.

— Это как? — Мама смотрит на меня.

— Это как папа, — говорю.

— Ой, а это... — догадывается Таня.

— Это мама моя, познакомься, — киваю. — А это Велька, мой брат.

Тут что-то стучит на манеже — оказывается, Эльбрус проехал слишком близко к стенке, и папа загрёб по ней ногой.

— Это он специально, — говорит Таня. — Издевается. У него ещё такая фишка — направо забирает. Надо чуть больше ногі давать, чтобы постановление нормальное было.

— А ты ездила? — Я вскидываю брови.

Таня хитро щурится и кивает:

— Ага, летом. — И склоняется к уху: — Мне Елизавета Константиновна разрешала, когда надо было его размять. Только ты никому не говори, это же нельзя. До хозяйки дойдёт...

— Ну, я дура, что ли? Конечно, не буду! Но это же круто!

Таня кивает: ага! И глаза горят.

А у папы тем временем получается всё хуже и хуже.

— Станислав, у вас палка есть! — кричит Елизавета Константиновна.

Но папа не может коней бить, будет ждать до последнего, пытаться договориться. А Лёша явно договариваться не хочет, он хочет показать, кто здесь хозяин. Вокруг — пересуды и смешки. Все уже решили, что папе такого коня дали зря. «Ну, давай, — шепчу, — покажи им!» — и аж у самой ноги поджимаются, как будто это я сейчас там, на Лёше, пытаюсь свернуть его в нужную сторону.

— Поехали галопом! — командует Елизавета Константиновна.

И все поехали — кроме Эльбруса. Видно, что папа делает всё, что может, но бесполезно: Лёша не слушается. Делает прыжок и останавливается. Делает ещё — и начинает козлить.

— Станислав, не накачиваем! Выжимаем, выжимаем коня! — кричит Елизавета Константиновна, и это значит, что папа уже устал, он качает корпусом, чтобы сдвинуть Эльбруса с места, а тот не бежит. Но у папы уже сил нет сжать его ногами.

— Не поможет... — вздыхает Таня. — Он такой, ему сила нужна.

— А ты ездила галопом? — спрашиваю.

— Нет. У меня тоже не получилось.

От сердца отлегло — если не получилось у Тани, у папы всё ещё не так плохо.

Но на самом деле плохо: Эльбрус уже в центре манежа и козлит там. Что папа ни делает — ничего не помогает. От входа, где стоит Ангела с девочками, долетают смешки. Мелкие рядом со мной притихли. Даже Велька перестал лопотать. Елизавета Константиновна что-то кричит папе, а потом машет рукой — ну, не справился, так что делать, — зовёт Таню, и они выходят на манеж расставлять препятствия для конкура.

И тут в воздухе свистит хлыст — и Эльбрус стартует с места.

Он несётся галопом по внутреннему кругу. Вокруг ахают — он несётся, опустив голову, поддавая задними и явно пытаюсь папу спустить. Но папа сидит откинувшись, как влитой, и лицо такое — я никогда не видела у папы такого лица — решительное, сосредоточенное, он не сдаётся, он собирается победить.

А на манеже никто не ожидал уже, что он поскачет. Кони шарахаются. Кто-то остановился, другие срываются быстрее.

— Сидеть! — кричит Елизавета Константиновна непонятно кому. — Станислав, в порядок! Встать на стенку! Не бегаем параллельно, он сейчас скачки устроит!

У меня аж дух захватывает — я бы понятия не имела, как привести в порядок такого коня. Но папа что-то делает — и Лёша правда встаёт на стенку, выравнивает шаг и уже идёт обычным, размеренным галопом. Только слышно, как отфыркивается громко, недовольно.

Вокруг выдыхают. Мама оборачивается на меня — глаза испуганные, как будто спрашивает, всё ли нормально. Киваю: норм, мам, не переживай. Это же папа!

— Два круга рысью, — командует Елизавета Константиновна, — и заходим на крестики ездой налево.

Они начинают прыгать. И тут становится понятно, для чего Эльбрус создан.

С него сразу сходит разнеженная спесь. Увидав барьер, он вытягивается и идёт стремительно. Сильно толкается задними и перелетает через низенький крестик так, будто это метровое препятствие. Папу бросает на переднюю луку, но держится.

— В порядок, Станислав! — кричит Елизавета Константиновна. — Не даём коню разгоняться. Держите его, держите! Пусть заходит на рыси, пока не поставлю выше.

И папа держит. В следующий раз конь заходит спокойней, ровнее, только за один темп до барьера под-

нимается в галоп и перескакивает мягче. Вокруг шумят — папа справляется! Отъезжает от препятствия, гладит Лёшу по шее. Глаза у коня мне кажутся не такими злыми.

А высота растёт. Елизавета Константиновна командует, и Таня всё прибавляет и прибавляет. А папа прыгает и прыгает. У меня уже дух захватывает, а у папы сильней разгораются глаза. Мне кажется, что они чем-то похожи с конём, что у них взгляд одинаковый.

— Восемьдесят, — произносят девчонки. — Девяносто. Метр!

Замечаю, что рядом достают телефоны — снимают. Конечно, это так красиво!

— Это долго будет продолжаться? — Мама не выдерживает. — Слав, мы пойдём.

И собирается встать. На самом интересном месте!

— Мам, да ты что! Смотри, как классно!

— Я не могу! Это самоубийство!

— Мам, сядь, вот точно не сейчас, ты помешаешь!

И это действует — садится. Не садится только Велька, он прилип к бортику манежа и не сводит с папы глаз. «Понимает, конечно, он всё понимает», — думаю, а Таня поднимает планку ещё на десять сантиметров. Папа заходит на препятствие по большой дуге, разворачивается от стенки. Конь видит барьер, ускоряется, папа его не держит — толчок! Слышен крик: «Грива!» — и Эльбрус летит, а папа успевает привстать в седле и опускается на другой стороне, за барьером.

Кто-то у выхода хлопает. Не успеваю обернуться — неужели Наташа? Ульяна, а вместе с ней и другие мелкие хлопают тоже и подпрыгивают на своих креслах.

— Хватит на первый раз, Станислав, — говорит Елизавета Константиновна. Голос довольный. — Угощайте зверюшку, отдыхайте.

Папа хлопает коня по шее, даёт кусочек сахара. На лёгкой рыси они проходят мимо нас. Лица у обоих счастливые. Папа бросает повод, и Эльбрус опускает шею, мотает головой, отфыркивается. Папа чуть встаёт в седле, давая ему отдохнуть, и подмигивает нам из-под шлема. Я машу изо всех сил, я сейчас лопну — так мне хочется вопить, что папа лучший!

— Кб́ня пи! Папа пи! Пигнул! Пигнул! — вопит Велька вместо меня.

В денник мы идём толпой: папа с Эльбрусом, я, Таня, Ульяна и Даша с Аглаей как хвостики, а где-то сзади мама держит Вельку, который становится как бешеный, рвётся вперёд и уже чуть не попал коню под ноги. Поэтому в конюшню мама не заходит.

Папа заводит Эльбруса, и мы начинаем рассёдлывать: я, он и Таня. Ульяна с «хвостиками» торчат у входа, войти не решаются, но и уйти не хотят.

— А можно! Можно! — пищат то и дело и отбирают у нас то уздечку, то вальтрап, то гель, чтобы отнести в амуничник, а оттуда несут щётки и крючок для копыт, крем для губ и бинты, чтобы перемотать коню ноги.

Мы чистим, драим, папа кормит коня, и все наперебой обсуждаем, как это было здорово, как красиво и какой Эльбрус молодец. Меня разбирает гордость. Я хочу сказать: папа молодец, но я молчу — я могу ему это и дома сказать.

Закончив, бегу в раздевалку, а там старшие. Тоже, оказывается, ещё не ушли. Видно, обсуждали папу,

потому что стоит мне войти — замолкают и смотрят в мою сторону. Я беру рюкзак. Не хочу переодеваться при них, хочу быстрее отсюда уйти.

— Это же твой папа был на Эльбрусе, да? — слышу вдруг голос с хрипотцой.

Оборачиваюсь, киваю. Наташа кивает тоже, с одобрением. Ничего не говорит, но этого достаточно: видно, что оценила.

— А он же недавно занимается?

— С мая. Мы вместе начали.

Кто-то присвистывает.

— Молодец, — говорит Анжела. — Жалко только вас, — добавляет потом и вздыхает притворно.

— В смысле? — не понимаю я.

— Ну, в прямом. Ты нормальная. А вот брат твой даун.

И пожимает плечиком. И ни фига ей никого не жалко. И не умеет она никого жалеть.

Я чувствую, как кровь ухнула из головы, из рук, из всего тела. Мельком оборачиваюсь — мелкие, которые пришли со мной, испуганно молчат. Таня тоже. А ведь они все видели Вельку. Все!

Вокруг хихикают. Успели, видно, это обсудить.

— Он. Не. Даун, — выдавливаю из себя. — И не смей так про него говорить!

— Ну, не даун, — Анжела смотрит на меня с деланным равнодушием. — Я не знаю, как это называется. Какой там у него диагноз. Но точно дебил. Он же ещё не говорит, да? А ему лет-то сколько? Десять?

— Прямо как Ульяна! — прыскает кто-то, и остальные хихикают. Кроме Наташи. Я замечаю — она смотрит на нас серьёзно, переводит глаза с одной на другую. И молчит. Ждёт, что будет.

— Ему шесть, — говорю. — И он нормальный. Это ты debilка!

— Чо?! Повтори, что ты сказала! — Ангела поднимается с дивана.

И я понимаю, что сейчас будет хуже, чем в прошлый раз. Но мне плевать. Потому что Вельку никто не смеет трогать. Пока я жива — никто!

— Что надо, то и сказала!

— Нет, ты повтори! Зассала? Повтори!

— Да отвали ты!..

Я вижу, что она идёт ко мне. Неужели будет драться? Это Ангела-то, с её фиолетовым маникюром? С её шикарными волосами до попы?

— Хватит! — вдруг командует Наташа.

Оборачиваюсь — смотрит спокойно, чуть насмешливо. Для неё наши разборки — детский лепет, конечно. Вот кто точно не побоится влечь, так это она. Но мне плевать. Если полезет, если только что-то про Вельку скажет!..

— Анжелкин, надо извиниться, — говорит она вдруг, и мне кажется сначала, что я плохо слышу. — Валька права: про них так нельзя.

— Что?! Ты совсем, что ли?! — Ангела стоит, как будто на неё вылили ведро воды. — Что я сказала? Да я правду сказала! Вы же все его видели — он натуральный debil.

— Он не debil! — взываюсь опять.

— Спокойно. Не debil, конечно. У всех свои особенности, — говорит Наташа.

Я смотрю — смеётся, нет? Для чего ей это?

— Короче, Желкин, надо извиниться. Надо за свои слова отвечать.

— Да ты охренела совсем?! Не буду я извиняться. Это правда!

— Правда — это то, за что ты готова в морду получить, — говорит Наташа. — А ты готова за это получить в морду? — И смотрит насмешливо. Анжела фыркает — она об этом и не думала, конечно. — Не, ты отвечай? Потому что если да — базару нет, я не лезу.

— Да я что, совсем, что ли? — выдаёт Анжела.

— Ну, вот и я так думаю, — кивает Наташа. — А Валька готова по мозгам надавать. Так что лучше ты извинись — и разбежались.

Анжела фыркает снова. Поводит плечом, презрительно отбрасывает назад волосы. А я просто не верю, что это всё происходит. Что за меня заступились — и кто?! — Наташа! Пока остальные молчат. Даже Таня. Все эти люди, кто вроде бы на моей стороне...

— Ну?.. — Наташа не даёт ей отмолчаться.

— Так, всё, вы меня достали!

Анжела хватает сумку и шагает к выходу. Но Наташа загораживает ей выход. Смотрит снизу вверх — зло и упрямо.

— Ну?! — говорит с напором.

— Ох, ну извини! — Анжела поворачивается ко мне и вся как-то переламывается, закатывает глаза, на меня не смотрит, всем видом давая понять, как ей всё это противно и делает она это только для Наташи, а если бы не она...

— Вот и умничка, — говорит та и шагает в сторону.

Анжела тут же выскакивает наружу. Кричит:

— Ты у меня ещё получишь!

И непонятно кому — мне или ей.

Наташа садится на диван и достаёт телефон. Её это всё уже не волнует.

Я тоже иду к выходу. Но останавливаюсь.

— Спасибо, — говорю. Не знаю зачем, но мне кажется, я должна это сказать.

Наташа делает вид, что не слышит.

Глава 8

Из нашего с Велькой окна виден парк. И из спальни мамы и папы виден, и из общей комнаты, и из кухни — отовсюду виден наш парк, как ни повернись, и я уже не представляю, что раньше было по-другому. Мне кажется теперь, что не должно быть по-другому.

Октябрь кончается, и парк пустеет. Налетит ветер — видно, как сыплются листья. Иногда, в хорошую погоду, когда солнце, всё блестит, как начищенное, и кажется, что в воздухе висят золотые нити. Играют на свету. От неба до земли — нити. Зацепишься за них взглядом — и улетишь. Воздух прозрачный, и его как-то по-особому много, как бывает только поздней осенью, когда уже прохладно, когда понимаешь, что дальше — только зима. И как-то по-особому любитесь всё, и по-особому всё жалко.

Мы с Велькой сидим у окна, у нас стол так стоит. Сидишь — и смотришь. Велька рисует. Я занимаюсь. Поделаю что-нибудь, алгебру, например, или химию, — и снова в окно. И хочется, чтобы эта осень не кончалась. Особая осень. Счастливая. Наша первая в парке.



Но сегодня идёт дождь. И никаких тебе золотых нитей. С самого утра дождь, и ни конца ему ни края. В парке всё размокло. Люди обходят большую лужу на дорожке. Листьев почти не осталось, видно насквозь.

— Ма, — выдыхает Велька задумчиво, глядя в окно. — И... — на вдохе, — ма, — на выдохе.

И я понимаю: зи-ма. Скоро — зима.

— Ну, ещё не скоро, — говорю бодрым голосом. — Ещё жить да жить!

А он смотрит на меня как на дурочку. Тепло так и печально. И улыбается, как только один Велька умеет.

— И... — на вдохе, — ма, — на выдохе.

Дождь не перестаёт и к вечеру. Становится тише, но всё равно льёт, когда я иду на тренировку. И пока занимаюсь, слышу, как шуршит вода по тенту. Некоторые лошади этого звука боятся, но не мой Чибис. Ему хоть бы хны, работает себе и работает. Так что занятие проходит нормально.

После, уже расседлав его и накормив морковкой, я бегу в раздевалку. Папа ещё не пришёл, можно пока погреться. Всё ещё моросит, и я, чтобы не промокнуть, бегу рысцой, прыгаю за дверь — и буквально натыкаюсь на Таню, которая стоит возле батареи и как-то странно, принуждённо смеётся.

— Да я что, знала, что ли, что она такая? Она типа: «Сейчас будем отмывать». А я разве что?

Это она Антону. Конечно, он тут же, я это по запаху поняла прежде, чем его увидела. Ржёт неприятным голосом. А Таня как ни в чём не бывало рассказывает ему что-то. И хихикает через каждое слово. Только

смех у неё какой-то натужный. Излишне громкий. Неподобный на Танин.

— Привет. А ты чего здесь? У тебя же тренировка, — говорю.

— А, привет. — Оборачивается ко мне и смотрит тоже странно. Лицо покраснелось, но я вижу, что ей невесело. Это возбуждение, но не радость. — А меня Елизавета Константиновна на треню не пустила, прикинь, — говорит и смеётся. «Ха-ха-ха, как смешно, посмейся со мной!»

— В смысле? — делаю большие глаза.

— Иди, говорит, домой. Или в травмпункт. А здесь ты мне не нужна такая. А куда я пойду? Мама прибёт.

Тараторит высоким, не своим голосом — и опять смех. Ломкий и болезненный. И Антон с дивана подхихикивает, как будто речь о чём-то противеньком.

— погоди, я ничего не понимаю. Что случилось?

— Да чего-чего... Ничего! — говорит она и вдруг выбрасывает вперёд левую руку, подставляет мне к самому лицу тыльную сторону ладони. А она — господи! — вся опухшая, красная, страшная, с жутким кровавым подтёком в центре и вздувшейся кожей. Не ладонь, а сплошная рана, или мне так в первый момент от неожиданности кажется?

— Что это? — Я невольно морщусь.

— Елизавета Константиновна говорит, с таким на конюшню нельзя, мало ли чего попадёт, но я ведь в перчатках, а она: «Какие перчатки, ты с ума сошла, надо перевязку, срочно!» Ну, в общем, выгнала меня. — И ха-ха-ха.

Меня трясёт.

— Погоди ты, Елизавета Константиновна права, какая перчатка, ты же её даже не натянешь...

— Натяну! — перебивает Таня. — Мне что, мне не больно вообще. Я натяну. Хочешь, покажу?

— Нет! — Перехватываю её, потому что она и правда полезла уже за перчаткой. — Нельзя, надо на перевязку, ты что, заражения крови хочешь?! Как это случилось? Ты была у врача?

— Ну, я пошла в школе, но у нас там нет медсестры, надо «скорую» вызывать, а директриса такая: это же не у нас произошло, правда, не на уроке, в смысле это же ты всё сама, да? Ну, типа, чтобы им там не замараться. Сама, ага! Ну, я плюнула и ушла. Сама так сама. Сама себе всю руку расковыряла, канешн!

— Садо-мазо, чо, — вставляет свои пять копеек Антон и ржёт.

Я отворачиваюсь, чтобы не смотреть на него, а то меня хуже затрясёт. Нужно успокоиться. Нужно взять себя в руки.

— Так, расскажи, как это случилось? Ну, по-нормальному.

— По-нормальному? Что ж тут нормального? Это химичка всё! Психушка сраная!

Антон заходится гадким смехом. Ещё немного — и я его тресну, честное слово!

— Не ругайся. Ну и что химичка?

— Я не ругаюсь, она и правда долбанутая, я что, виновата? Нормальный человек сделает так?

— Да как?!

— У нас контроша была. Ну, должна была быть. Она такая листочки раздаёт с заданиями, по классу ходит. А у меня тут, — показывает на руку, прямо в центр

больной ладони, в красное и сочащееся сукровицей место, — цифры записаны были. На математике решали, я записала, некуда больше было, не на парте же писать? Просто две цифры. А, ещё глаз. Это я так, потом обвела их и глаз дорисовала, похоже получилось просто. А она как увидела — какшибанулась, вот правда! Схватила меня за руку, потащила к раковине: «Сейчас будем оттирать, сейчас будем оттирать!» Орёт, а сама смеётся, прикидываешь?! «Чтобы девочка, да чтобы в школе, да такое!» Как будто у меня там прямо не знаю что!

Антон смеётся, повизгивая. Видимо, представил, что там такое могло бы быть. А Таня уже не смеётся, покраснелась больше прежнего, её, кажется, тоже стало потряхивать.

— Руку схватила, под воду, врубила кипяток, на губку «Фейри» — и давай туда-сюда! Как сковородку. От губки аж хлопья во все стороны летят, красные такие. А сама: «Сейчас будем оттирать, сейчас будем оттирать!» Шизанутая. И не выкрутишься, знаешь как крепко держит!

Я смотрю на Таню во все глаза. Я не могу поверить, что так бывает. Чтобы взрослый человек, учитель, в школе... Может, я чего-то не понимаю? Может, это какая-то ошибка? Но рука у Тани опухает на глазах.

— Господи, Тань... А ты-то чего?

— Да чего? Я ей говорю: не надо, не надо, а она что, слушать станет?

— А вырваться? Убежать? Позвать на помощь?

— Ну ты что, это же школа! И ты знаешь, какая она сильная? Я пыталась вырваться — фига с два.

— А остальные что? Целый класс ведь сидел смотрел.

— Ну а что? Взрослый же человек. Учитель...

— Мучитель, — выдаёт Антон, и я впервые согласна ним. Даже оборачиваюсь и смотрю, правда всего секунду, но этой секунды хватает, чтобы прийти в себя и понять, что происходит. Почему Таня тараторит без умолку таким высоким голосом и смеётся. Почему не чувствует боли.

Это называется шок. И с этим надо что-то срочно делать.

— А директриса потом такая: это же не у нас, это же ты сама. Прикинь, сама! — начинает по второму кругу. Руку держит перед грудью, снизу за локоть придерживая правой. Как младенца.

— Зассала, чо, — говорит Антон.

— Но ведь надо жаловаться! — не выдерживаю я. — Надо, чтобы взрослые написали заявление. Мама твоя.

— Мама! — фыркает Таня. — Мама не пойдёт в школу ни в жизнь. Она вообще там не появляется.

— Но ведь её надо уволить! Химичку эту вашу!

— Уволишь её, как же... — вздыхает Таня. — Она директрисе какая-то там не то племянница, не то сноха, короче, я не знаю. Но кто-то. Так что мне теперь...

— Так, я всё поняла, — перебиваю, и она тут же смолкает, как будто её выключили. — Бери вещи, айда.

— Куда? — Она как будто споткнулась на полном скаку. Смотрит на меня во все глаза, и в них — наконец-то! — испуг. — Я к врачу не пойду. Я врачей вообще не...

— Не к врачу. Ко мне. Тут рядом.

— А что у тебя? У тебя мама врач?

— Нет, не врач. Её вообще сейчас дома нет. Идём, я тебе сама перевязку сделаю.

— Ты? — У Тани глаза вот-вот выпрыгнут. — А ты умеешь?

— Успокойся, умею. Я курсы первой помощи проходила. Пошли.

Она ещё что-то хочет спросить, но я не даю. Хватаю её сумку, хватаю её саму за здоровую руку и вывожу из раздевалки. Слышу за спиной, как Антон хихикает непонятно над чем.

Дождя уже нет, но в парке ещё капает с веток и чавкает, пока мы идём до дома. Таня сдулась и по дороге только ноет: что она боится, да что скажут мои родители, и, может, вообще не надо, само пройдёт... Я успокаиваю её как могу, но больше думаю о том, что я сейчас делаю. Точно ли я разберусь, что с рукой? Это Таню я могу успокоить, что всё знаю, что я на курсы ходила. Правда ведь ходила. Но себе-то что сказать, чтобы не волноваться?

Дома, только разувшись, волоку Таню на кухню, бухаю на стол аптечку и командую:

— Показывай!

Зрелище жуткое: на опухшей руке, прямо посреди кисти — большая, сантиметров пять, язва с побелевшими краями. Кожа стёрта напрочь, сочится сукровица и какая-то жёлтая жидкость, начинают вздуться вокруг белые волдыри. Короче, иллюстрация к ужасу.

И что мне с этим делать?

— Болит? — спрашиваю, лишь бы что-то сказать, потому что чувствую, как Таня смотрит на меня со

жгучей надеждой. Смотрит и молчит. Пусть уж лучше не молчит.

— Нет.

— Точно?

— Ну, немного.

— Понятно, — говорю как можно строже, хотя мне ничего не понятно, кроме одного: рана не похожа на те, которым нас на курсах учили, это не порез, не перелом. Ничего такого я не могу вспомнить. Точнее, крутится в голове какая-то смутная картинка, но я никак не могу ухватить её. А пока не понимаешь, что это, как лечить?

— Промывала? — продолжаю допрос.

— Чего? — не понимает Таня.

— Водой промывала?

— Нет. Там вода-то и так была. Ну, тёрла она под водой.

— Понятно. Идём.

Веду её в ванную, врубаю холодную воду и сую её ладонь под струю.

— Держи.

Таня морщится.

— Больно? Терпи. Как говорил инструктор у нас на курсах, вода — это первая помощь в любых условиях.

— Каких курсах?

— Выживания. Для туристов.

— А ты турист?

— Родители. Папа, точнее. Альпинист. Я-то пока не была. Но он обещал взять. На Алтай.

— Классно!

— Ты держи, держи.

Она держит руку под струёй, глядит на неё, морщится. И я гляжу и соображаю: что же это может быть? Эта стёртая кожа, понятно, просто рана. Но что-то мне в ней не нравится. Вот эти волдыри, например. И омертвление тканей вокруг язвы. Откуда?

— Чем, говоришь, она тёрла?

— «Фейри». Ну, средством для мытья посуды.

— Понятно. Не убирай руку, я сейчас.

И бегу за планшетом. О'кей, гугл: состав моющего средства. У нас дома не «Фейри», мама помешана на всём экологически правильном, «зелёном», так что состав того средства, которым мы моем посуду, другой, скорее всего.

Так, читаем: ПАВ, ПАВ¹... Хлорид натрия... Отдушки...

О, а вот и оно: щёлочь!

— Короче, поздравляю: у тебя химический ожог, — говорю, возвращаясь в ванную.

Таня хлопает на меня глазами:

— И что теперь?

— Похоже, второй степени. Так что не бойся, пересадку кожи делать не придётся.

— Какую ещё пересадку?!

— Да не волнуйся ты, я же сказала: не придётся.

— Ты шутишь!

— Вообще нет. Ты куда?! Ещё надо промывать! Воды надо до фига, чтобы вглубь тканей не проникло. Так что стой, а я пока всё приготавливаю.

¹ П А В — поверхностно-активные вещества, применяются в составе чистящих средств.

Таня кивает испуганно, а я бегом на кухню. Смотрю, всё ли у нас есть. Антисептическая салфетка, левомеколь, бинт... Кажется, всё.

— Тань! Хва мокнуть, приходи!

Вода стихла. Таня входит, держа руку на весу. Старается, чтобы не капало, но с неё всё равно льёт.

— Извини, я тут... — Виновато косится на капли.

— Да забей. Садись. Не бойся, это не больно.

— Я и не боюсь. А что, йодом каким-нибудь или перекисью не надо? — спрашивает, когда я протираю рану антисептической салфеткой.

— Каким йодом! Ты смеёшься? У тебя тут кожи нет от слова совсем. Йод — это так, прыщи прижигать. Его в рану нельзя ни в коем случае.

— Да я знаю, знаю... Слушай, а тебе это нормально?

— Что?

— Ну, вид крови... Ты не боишься?

— Ты же прижигаешь раны лошадям.

— Прижигаю. Но это другое.

— Чем другое? Человек — то же животное.

— Ты, наверное, врачом хочешь стать? У тебя, наверное, по биологии одни пятёрки. И по химии...

Я молчу. Делаю последний оборот бинта и гордо смотрю на свою работу. Аккуратно, плотно. Игорь Андреич с курсов похвалил бы.

— Порядок. Только обещай мне, что сходишь к врачу. Сегодня не надо, даже завтра ещё необязательно, а вот послезавтра — точно. К хирургу. Во-первых, он должен повязку поменять. А во-вторых, чтобы быть уверенным, что я всё правильно сделала.

— Да я уверена! Ты вообще как будто каждый день раны бинтуешь. Как медсестра.

Я опять ничего не отвечаю, убираю аптечку, но мне очень приятно, что она говорит. Я ведь и правда иногда думаю стать врачом, Таня прямо в корень смотрит. Хотя мне пока не ясно, что для этого делать, да и с химией у меня не сказать чтобы очень хорошо. Но вот на курсах понравилось, и вообще лечить кого-нибудь — это моя страсть. Когда Велька болеет, я всегда за ним ухаживаю.

— Как у вас прикольно! — Таня уже пришла в себя и осматривается. — А это что, настоящие картины?

— А, нет, это этюды.

На кухне у нас висит цикл «Времена года» — мамины студенческие работы, единственные, которые она оставила. На всех один и тот же вид с холма на овраг. В глубине — покосившаяся крыша деревянной купальни над родником, за ней — рябина. Зимой крыши почти не видно, торчит одна доска, зато на рябине — ярко-алые гроздья ягод. Летом купальню скрывают кусты, и рябину почти не отличишь от них. Весной красивой всего: дерево всё белое, и пахнет сладко, и сам воздух звенит. А осенью зато тьма и печаль, так что кажется, это не родник, а погост, и только красные ягоды на голом дереве горят тёплым светом... Я люблю эти этюды, все четыре, они небольшие, но такие уютные, и я, когда мелкая была, любила представлять, как я в этом месте гуляю, хотя я никогда там не была.

— Это ты рисуешь? — спрашивает Таня.

— Нет, я не умею, что ты. Это мама, ещё когда училась. Это масло.



— Это как? — не поняла Таня.

— Ну, краски такие, масляные. Не знаешь?

Она неопределённо качает головой. Тут я вспоминаю, что надо делать, когда гость приходит:

— Чай будешь?

— Ага. — Таня кивает, не сводя глаз с картин. — А у тебя мама художник? — спрашивает, пока я наливаю воду в чайник.

— Ну, она раньше работала в театре, художником по костюмам, но потом ушла, когда Велька родился. — Ставлю чайник на плиту, достаю на стол чашки, блюдечки, ложечки. — Для себя всё равно пишет, хотя сейчас мало. Время надо, а она много с Велькой занимается.

— То-то я заметила, что у тебя мама такая... необычная. — И показывает руками что-то струящееся.

Я понимаю — это юбка, в которой мама на конюшне была.

— О да! Моя мама весьма необычная, — смеюсь я. — И все эти платья бесконечные, юбки, сарафаны — она сама это шьёт.

— Сама?! — изумляется Таня.

— Сама, сама, — киваю. — И себе, и мне. У меня же ни джинсов, ни брюк нет, потому что мама считает, что девочка должна только в юбках ходить. Знаешь, как я её уговаривала мне бриджи купить для тренировок! Она думала, наверно, что я буду, как в позапрошлом веке, на седле боком и в длинном платье. — Я смеюсь. Таня тоже. — Моя мама вообще со странностями, — несёт меня дальше. — Живёт в каком-то воображаемом мире. Она даже имена нам с Велькой такие подобрала...

Но тут я себя обрываю. Потому что тогда придётся сказать, что я не Валя, а я на это не готова. Да и вообще от разговора вдруг становится неприятно, как будто я маму предаю.

Но, по счастью, Таня ничего не замечает. Она даже не уточняет про имена — подошла к окну, прижалась к стеклу:

— Так ты же почти в парке живёшь! Клёвенько!

— Ага, мне тоже нравится.

— Ой, а ты, наверное, в сто семнадцатой учишься? Ну, в тыща сто семнадцатой, с биоуклоном, да?

— Нет, я в школу вообще не хожу, — ляпнула я и тут же пожалела: Таня обернулась и смотрит во все глаза.

— В смысле?

— В прямом. Я дома учусь.

— А почему? Ты разве болеешь чем-нибудь?

Вот всегда так. Один и тот же вопрос. Я иногда прямо ужасно благодарна мамочке, что меня всякий раз о здоровье спрашивают, стоит только рассказать, что я в школу не хожу.

— Нет, это же необязательно. Это называется СО — семейное обучение.

— То есть ты вообще не ходишь в школу? Никогда-никогда? — Глаза у Тани горят. Сейчас спросит, что для этого надо сделать.

— Нет, ну я прихожу, сдаю всякие там работы, тесты. И экзамены переводные в конце года.

— Клё-ово! — тянет Таня. — Я и не знала, что так можно. Я думала, это только если больной когда. Ну или какой-то... не такой, в общем.

— Ну, раньше так и было, а теперь-то всем можно. Просто родители должны школу найти, где разрешают взять детей на домашнее.

— И как ты учишься? Прямо вот всё-всё сама? Или родители помогают?

— Раньше — да, а теперь больше сама. Распределяешь программу. Например, по географии надо пройти учебник за полгода. Значит, я читаю каждую неделю по два параграфа. Или типа того. Делаю разные задания. Ну и в Инете же всего много.

— И тебя никто не проверяет? — Голос у Тани звенит. Такой восторг и зависть, что мне стыдно становится. — И мама тебя никогда не пытается, ну, типа, домашку сделала?

— У меня же нет домашки. У меня, считай, всё — сплошная домашка. — Я пытаюсь шутить, но Таня смотрит так жадно, прямо вцепилась глазами. — Нет, понимаешь, тут совсем другое. И ответственность другая, и отношение к тебе. Есть то, что я должна выучить, а когда я это сделаю — моё дело. Но должна.

— Блин, это сложно.

— Да нет, я привыкла. Со мной мама занималась поначалу. Ну, чтобы я не волюнила, чтобы приучалась работать. А теперь я могу сама.

— Моя мамка не стала бы. Ей не до меня.

— А папа? Мне папа знаешь как помогает! И с химией, и с физикой...

— Да, у тебя папа зачётный. Не, мой бы тоже не стал. Он с нами давно не живёт. Они развелись с мамкой недавно, а съехал он ещё сто лет назад.

Я прикусила язык.

— Прости. Я не знала.

— Да ладно, чего прощать-то? Всё нормально, — пожимает Таня плечами.

— Мне казалось, ты говорила, что он тебе форму конную купил.

— Ботинки, — усмехается Таня. — Мужские, сорокового размера. Он не знал просто, какой у меня. По Интернету заказал, что было. На день рождения прислал.

— Правда? И как ты?

— Три носка надеваю — и норм! Зато когда Изумруд наступает, я ничего не чувствую. Удобняк!

И смеётся. Я тоже улыбаюсь, за компанию, хотя у меня нет уверенности, что это смешно.

— Не, папка у меня хороший, он мне денег всегда даёт, — продолжает она. — Если попросишь. Мамке не даёт, а мне — пожалуйста.

— А чего так?

— Ну, мамка у меня... видишь... она не работает же нигде. В смысле постоянно не работает. То тут, то там. А если ей деньги начать давать, так она же совсем работать перестанет. Сядет дома, что я тогда делать буду? — Таня смеётся, я ухмыляюсь тоже, но на самом деле это всё звучит странно. Я не понимаю, как так, но чувствую, что спрашивать дальше не стоит.

Тут как раз кипит чайник.

— Угощайся. — Ставлю на стол чашки с чаем.

Таня смотрит на них и вдруг кричит:

— Деньги! — быстро макает в чай пальцы и мажет себе по волосам.

Я смотрю ошарашенно. Таня замечает и смущается.

— Ой, ну это... пузыри же были... Вы разве так не делаете?

— Как — так?

— Ну, это вроде к деньгам. Если пузыри. Надо вот так. Поймать — и в волосы. Не знаешь? Примета, типа, такая...

Я представляю, как мама с папой всякий раз, когда мы пьём чай, вопили бы и плескали чаем на волосы, — и мне почему-то совсем не смешно.

— Не-а, — качаю я головой. — Не делаем.

— Прости. — Она смущается ещё сильнее и опускает глаза в чашку. Но тут же оживляется снова: — Ой, какая ложечка! Никогда не видела такой.

У нас и правда красивые ложечки. Всего две — серебряные, с чернением, с замысловатыми цветами. Уже стёртые, старые, они маме от бабушки достались, но всё равно очень красивые. Их обычно достают по праздникам.

— Это от прабабушки ещё, — говорю и чувствую, что меня распирает от гордости. — Семейная реликвия. Дагестанское серебро.

— Вы из Дагестана? — Таня поднимает изумлённые глаза.

— Ты что! Я разве похожа на дагестанку?

— Не знаю. — Пожимает плечами и смотрит на меня оценивающе, как будто и правда примеряет: похожа или нет. — У нас в классе мальчик есть, Мариф. Он чёрненький тоже.

— И что? У меня только волосы чёрные, а лицо-то русское. А волосы — это от казаков. У меня папа из казаков.

— А, вон почему он так легко учится ездить! Казаки же супер как на лошадях скачут, я выступления видела!

— Ага, мы с мамой тоже так шутим, что в папе кровь заговорила, — смеюсь я.

— Эх, а во мне никакой наследственности... — вздыхает Таня.

— В смысле? Ну и что? Ты же всё равно лучше всех в группе.

— В группе — да, но этого разве достаточно? У нас ведь школа так себе, для мелкоты. А как выедешь на большие старты — сразу понимаешь, чего ты стоишь.

— Так ты говорила, что первое место весной заняла.

— Заняла. Среди юниоров. Кубок города. — Таня прямо преображается, как вспоминает.

— Так и радуйся. Чего тебе ещё?

— Ну, это пока. Я ведь понимаю: это пока все маленькие. А дальше будет сложно. Дальше все со своими лошадьми выступают, на прокатных никто не ездит.

— Почему?

— Ну, они хуже. С тобой не так сработались, они же разных людей возят. И вообще... А на стартах такие бывают лошади! По миллиону и больше! Их из-за границы везут. Нам с нашими недоросликами делать вообще нечего.

— Да, конный спорт — дорогой.

— Очень!.. — Таня вздыхает. Она так оживилась, когда зашла речь про лошадей, но сейчас снова сникла. Мне хочется сказать ей что-то хорошее.

— Но ведь оценивают не за лошадь. Оценивают всадника.

— Ха! Если бы! Ты просто на соревнованиях не была. Конкур — это да, там всё просто: чисто проехал — и порядок. А выездка — нет. Если едет лошадь за миллион, а за ней — за сто тысяч, так на вторую даже смотреть не будут, хоть ты там супер-пупер выеддун! Нет, свободен! Цена имеет значение, как говорится.

— Но это ведь нечестно.

— Почему нечестно? Всё равно у той, которая дороже, у неё и шаг другой, и послушание, и много чего. Всё справедливо. Ты про Елизавету Константиновну разве не знаешь? У неё вот такая же ситуация. У неё хороший конь, но старый уже. И дешёвый. А на молодого и дорогого денег не хватает. Так её из-за этого объезжали уже сто раз на стартах! Там как наша Анжелочка все, им коней купили, просто потому что это модно — на лошадаках кататься, им этот спорт — чисто фоточки красивые в инсту залить. Но конь же должен участвовать в стартах, чтобы форму не терять, вот они и едут. А наша Елизавета Константиновна не такая, у неё спорт и кони — это главное в жизни. Но с деньгами плохо. И вот...

Я киваю, но не знаю, что на это сказать. Я плохо понимаю ещё в конном спорте, хотя мы с папой смотрим иногда записи в Интернете. Но видно, что Тане всё это важно, она и разбирается, и любит, и сама хочет заниматься. Видно, что это её будущее.

А моё будущее — оно в чём?

Нет, лучше не думать. Лучше подлить Тане ещё чаю, посмеяться над чем-то, полистать фоточки: вот Таня на Изумруде на выездных соревнованиях, белая форма, розетка у Изика на уздечке, у Тани кубок в руках. Вот Таня прыгает на нём через барьер. А вот

Таня на какой-то незнакомой лошади, чёрной, с белой проточиной между глаз.

— Это Кирюша, — говорит с любовью. — Елизаветы Константиновны конь. Он не у нас, на другой конюшне стоит. Далеко. Туда ехать только час.

— И ты ездила? — поражаюсь я.

Таня кивает, прикрывает от удовольствия глаза.

— Она меня брала. Летом. И говорит, что ещё возьмёт.

— Но ты же говорила, он старый.

— Кирюша? Нет, это Вова старый, ну, Виолант, другой конь. Его она никому не даёт.

— У Елизаветы Константиновны два коня? — изумляюсь я.

— Ага. Вова для выездки. А Кирюша конкурный. Ну, точнее, она его тоже для выездки брала, но он стартов боится. Именно выездковых. Прямо весь потеет, прикинь, когда едет. И от цветов начинает шарахаться — на манежах всегда в горшках цветы по углам, так он дойдёт — и в панике!

Таня смеётся. Я качаю головой: мне сложно представить, чтобы спортивный конь так себя вёл.

— Она его продать думала, но потом смотрит — он прыгать любит и вот там ничего не боится. И оставила под аренду. Тренирует на нём конкуристов.

— Она не только у нас работает, выходит?

— Ну, не совсем. Аренда — это всего два человека. Я бы тоже хотела, только это дорого очень, — вздыхает Таня. — Папа столько денег не даст. Ну, то есть Елизавета Константиновна предлагала мне за полцены, если я буду ей помогать на конюшне, ну, убирать, чистить, кормить. Но это же надо маму уговаривать. Потому

что по полдня я там тогда буду точно. А она не разрешит. Ну, я не верю, что разрешит. Хотя это так здорово! — говорит потом мечтательно и закатывает глаза. — А главное, когда работаешь с хорошей лошадыю, сам растёшь. Не то что у нас на конюшне.

Я киваю. Я прекрасно понимаю, о чём она. Хотя мне и на нашей конюшне ещё расти и расти до хорошего коня. Мне пока Чибиса за глаза хватает.

А потом мы смотрим на часы и оказывается, что нам пора. И я иду её проводить, хотя она отмазывается и говорит, что сама дойдёт. Но я всё равно иду — через тёмный и мокрый парк, по хрустящим дорожкам, и мы смеёмся, и мне кажется, что так вот и могла бы выглядеть дружба.

Манеж светится в лесу белым куполом. В нём слышится топот и мерное дыхание — лошади работают на галопе. Сейчас доведу Таню до раздевалки и вернусь сюда, подожду папу. Домой пойдём вместе.

— Ладно, пока, — говорю Тане.

Она кивает, открывает дверь раздевалки — и отскакивает в сторону. Потому что оттуда на неё кидается Анжела, с распущенными волосами, как фурия.

— Ага! — кричит победно. — Наконец-то! Мы уж заждались. Заходи, заходи, — и втаскивает Таню внутрь.

Я ничего не понимаю, но успеваю протиснуться в закрывающуюся дверь.

Внутри полно народу, вся старшая группа и Антон в придачу, куда же без него. Даже жарко — так они надышали, долго, видно, сидят.

— Что, ручка бо-бо? — елеиным голосом спрашивает Анжела. — Бедная ручка!

Я морщусь — мне противно. Таня смотрит на неё с недоумением. А все таращатся на Таню. И лица какие-то у них... нехорошие лица.

— Уже не болит, — говорит. — Перевязали.

— Не болит? А чего пришла? Тренировка кончилась давно.

— За вещами, — говорит Таня.

— Ах, за вещами! — Анжела отходит с дороги. — Давай-давай. Бери, чего там у тебя. И проверь, всё ли на месте.

Тут Таня что-то понимает, бросается к своему ящику — он открыт.

— Что?! Вы чего-нибудь взяли?

— Делать нам нечего — по чужим ящикам лазать! — бурчит Наташа с дивана.

Она одна сидит как ни при делах. Блуждает взглядом, как будто ей ужасно всё это скучно. И это меня тоже напрягает. С чего вдруг? Да без неё тут ничего не происходит.

— Я запирала! — кричит тем временем Таня.

— Ври больше! Запирала она! — фыркает опять Наташа. — Когда мы пришли, открыто было, все скажут.

И все правда начинают кивать. Даже Антон. Хотя ему вообще никогда нет дела до того, что происходит. А вот я не помню, запирала Таня ящик перед уходом или нет. Вообще не помню. Поэтому стою и тупо молчу.

— Ладно, чего базарить, — тем же скучающим тоном говорит Наташа. — Ты вещи брала. Вот и бери.

Таня протягивает внутрь здоровую правую руку, тянет на себя сумку — и ей под ноги что-то вывали-

вается. Она отскакивает и кричит, как будто увидела змею:

— Это что?!

— Сама видишь, чего орёшь? — морщится Наташа.

— Это не моё!

— Понятно, не твоё! — взвывается Анжела и бросается к упавшим вещам. — Потому что это моё! Моё, узнаёшь?!

Она тычет Тане в лицо. Та отстраняется. Глаза у неё испуганные: в руках у Анжелы ногавки. Точно такие же, как она показывала месяц назад, непарные. Передняя и задняя. Модного фиолетового цвета.

Или те самые?

— Это ты их взяла! — вопит Анжела. — Ты! Теперь все знают! И остальное всё тоже...

— Нет! — Таня вдруг понимает, толкает её руку. Глаза огромные, в них ужас. — Я не брала! Вы что, рехнулись все?! Это не я! Вы мне... вы мне подложили!

— Да кто? Мы пришли все вместе, — говорит Наташа спокойно. На удивление спокойно, все уже вокруг начинают заводиться, что-то выкрикивать и говорить одновременно, а она вот как удав. — Ящик открыт был. Девки подтвердят.

И они начинают кивать и поддакивать. Я перевожу глаза с одного лица на другое: все возмущённые, возбуждённые. Явно ждали Таню, успели всё это тридцать раз перетереть.

— Открыто было, а они торчат, — говорят вокруг.

— И Натаха такая: глянь, Анжел, типа, это не твоё?

— Ну, — кивает Анжела. — А я смотрю: точняк, моё! Прятать лучше надо!

— Нет! — кричит опять Таня. Не кричит уже — стонет. — Я не брала. Вы мне подсунули! — Она в отчаянии. Того гляди заревёт.

— Ой, ладно, делать нам нечего — ногавки тебе со-
вать! Да я уже и забыла, мне папа новые купил тыщу
лет как, — машет руками Анжела.

— И ясно же было, что кто-то из своих прёт, —
говорит Наташа. — Чужим-то не надо.

— А кто у нас самый такой бедненький, самый не-
счастненький? — продолжает давить Анжела. — У кого
денег на новую снарягу нет?

— Не я, не я! — визжит Таня.

— Короче, вот что, — говорит вдруг Анжела. —
Ногавки — это туфта, фиг с ними. Ты мне телефон
должна, поняла? А он знаешь сколько стоит? У тебя
в жизни столько не было!

— Чего?! — У Тани лезут на лоб глаза.

— Что слышала!

— С какого вдруг...

— А вот так! Я сразу поняла: кто ногавки спёр, тот
и фоник. А то я всё смотрю: с каких ты шишей сек-
цию оплачиваешь? У тебя же мамка не работает ни
хрена и бабла нету!

— Неправда! Мне папа даёт! — Кажется, Таня за-
дыхается от возмущения, она уже вся красная.

— Да бросил он вас давно. Сдались вы ему обе. Он
себе молодую тёлку нашёл, — говорит Анжела равно-
душно и смеётся.

И все вокруг смеются. А Таня хватается ртом воздух,
озирается на них загнанно — и вдруг начинает реветь.

Это становится для меня последней каплей.

— Отстаньте от человека! — кричу. — Совсем, что ли! Не могла она, вы что, Таню не знаете?!

— О, защитник нашёлся, — спокойно говорит Наташа и поднимается с дивана. Вскидывает на плечо свою сумку. — Без тебя не разобрались бы.

— Она вам всем на конюшне помогает, а вы так себя ведёте!

Я смотрю на них — глаза у всех отсутствующие, они меня не слушают. Они уже всё для себя решили.

— Короче, Желка, гоу к Елизавете Константиновне, — говорит Наташа. Антон стоит в дверях, ждёт её. — Пусть дальше взрослые разбираются.

— И не она даже, я хозяйке позвоню, — говорит Анжела. — И не я, а папа! Он всех тут быстро того.

И они выходят. Обтекают Таню, как будто она заразная. И никто на неё даже не смотрит. А она стоит и рыдает. Её прямо трясёт.

— Ну, всё, всё, прекрати, они ушли! — Я бросаюсь к ней. Обнимаю за плечи.

— Но ведь ты же не веришь? Не веришь?! — ревёт, прижимаясь.

На ней старая куртка, в которой она ходит заниматься. Куртка пахнет конями. Таня вся пахнет конями, но мне нравится этот запах — он понятный, свой. От Анжелы вон духами несёт, а от Антона — куревом, это гадко. А кони — совсем, совсем другое.

— Она мне подбросила! Это не я, не я! — надрыгается Таня.

— Я не верю, конечно.

Я ни на секунду не подумала на неё. Но что всё это значит? Неужели специально? Неужели это те са-

мые ногавки, которые остались у Анжелки? Но как же так? За что?

— А что теперь будет? Меня выгонят?

— Да никто тебя не выгонит, не переживай. Вон даже Ульяну не выгнали. Оставили на перевоспитание. А уж тебя!

— А вдруг...

— Ну, о чём ты думаешь, Тань! Это ерунда вообще. Тебя что, Елизавета Константиновна не знает?

— Знает... — Таня хлюпает носом.

— Ну вот и всё. Не переживай.

— Но вдруг... Я без коней... Я просто... не переживу!

— Что — вдруг? Надо у Анжелки ещё спросить, где вторая пара ногавок. А то вдруг они куда-то мистическим образом исчезли тоже.

Таня отлипает от моего плеча. Соображает. До неё начинает доходить.

— Точно... Это они и есть. Они специально!

— Специально?

— Ага. Чтобы меня выгнали. Они давно хотят, чтобы я ушла.

— Зачем?

— Потому что я на всех стартах побеждаю. Мне Анжелка давно говорила, что я не должна больше участвовать. А скоро старты опять.

— Анжела? Да пусть ездить научиться сначала! Она потому самого спокойного коня и берёт, что боится свалиться и ноготок сломать! Она не победит ни за что!

— Она-то — да. А Наташа? Она хорошо ездит.

— Ну, Наташа... — говорю я и не знаю, что ещё добавить. Потому что вспоминаю, как Наташа за Вель-

ку заступилась. И тех двух девчонок, которые из-за Золушки спорили, развела. В ней есть что-то — какое-то чувство справедливости. Свое, конечно, но есть. Вряд ли бы Наташа стала.

Кое-как успокоив, я отправляю Таню домой и бегу сама тоже. Звук на телефоне всё это время был отключён, и там четыре пропущенных звонка. Три от мамы. Один от папы. Значит, он уже дома. Бегу, задыхаясь от бега, а из головы всё не выходит: ну почему они с Таней — так?

Мама набрасывается с порога, конечно: где так долго, а что трубку не берёшь?.. Я не отвечаю. Мою руки, снимаю форму и иду на кухню. Мне бы с папой поговорить. Но при маме не хочу. Она не поймёт ничего, она же не знает, какие у нас там отношения, на конюшне, а объяснять долго.

Папа на кухне. Ужинает. Пахнет жареной рыбой. Я рыбу терпеть не могу, а мама её часто готовит. Она вегетарианка, мама, но для нас иногда может пойти на уступки, как она говорит. Например, рыбу пожарить.

Кто бы её ещё любил, эту рыбу.

Но сейчас я чувствую, что съем слона, можно и из рыбы. И вообще мне не до того.

— Кроль, ты где застряла, я уж думал тебя искать идти, — говорит папа.

— Я Таню провожала.

— Какую ещё Таню? — Это мама входит в кухню.

— Подружку, — отвечаю.

Но мама уже завелась, её так просто не остановишь:

— А нельзя было...

Папа ей что-то показывает глазами, она обрывает себя, отходит к плите. Молча кладёт мне в тарелку рис и рыбу. А я всё думаю, как бы с папой обсудить это. Он-то Таню тоже знает, он и не подумает на неё.

— Как позанимался? — спрашиваю издалека.

— Обалденно! — говорит с набитым ртом. — Эльбрус — огонь!

— Господи, теперь и ты говоришь как подростки! — Мама всплёскивает руками.

— А что такого? Надо же соответствовать.

И подмигивает мне. Мама качает головой, отходит. Начинает убирать грязную посуду в машину. Входит Велька. Забирается с ногами на диван у окна, отодвигает тарелки на столе, укладывает на него свой блокнот для эскизов и начинает что-то черкать. Папа убирает солонку, чтобы ему было больше места.

— Эльбрус такой податливый, — продолжает. — Надо только общий язык найти. Но может и дурить. Сегодня стрельнуло ему что-то: доходит до угла — и вдруг в галоп. Идём туда снова — опять. Лиза говорит: чертей словил, держите его, мол, крепче.

— Лиза? — Мама. Неприятным голосом.

— Ну, Елизавета Константиновна, — поправляется папа.

— Нет, всё-таки Лиза? — допытывается мама.

— Свет, ты хочешь, чтобы я её по имени-отчеству звал? Девчонка нас младше на десять лет.

— Да нет. Я вообще ничего не хочу.

Отворачивается опять. Я добираю хлебом последние крошки риса с тарелки и успеваю сунуть её в машину прежде, чем мама закроет. Надо же, даже рыба бывает вкусной, оказывается. Когда голодный.

Свистит чайник. Мама выставляет на стол чашки.

— В общем, Елизавета Константиновна говорит: переводите в шаг и шлёпайте туда. В угол в смысле, — продолжает папа. — А Лёшка упёрся — ни в какую. Я и так, и сяк. Бегает себе в центре как заведённый.

У меня аж ладони вспотели от папиного рассказа: я прямо представила, как Эльбрус, этот огромный и сильный конь, дурит и не слушается. Я бы запаниковала на папином месте. А он ничего, только смеётся.

— Стас, ложечка у тебя? — Мама его, кажется, не слушает. Грохает себе посудными ящиками. Ну вот как так можно!

— Какая ложечка?

— Пап, ну дальше что? Ты испугался?

— Нет! Весело же. Кое-как остановил. Он на руку сложный, ужас, только ноги, только хардкор. В общем, перевёл в шаг. Идём снова туда...

— Стас, извини, пожалуйста, только её нигде нет. — Мама подходит к столу. — Глянь у стены, не упала?

— Да что за ложечка-то?

Папа отодвигает стол. Заглядывает в щель. Велька отвлекается от блокнота.

— Бабушкина. Серебряная. Ну, моя.

— Нету. — Папа ставит стол на место. — Вель, ты не брал? — подмигивает брату. Тот смеётся.

— Ты мусор сегодня выбрасывал? — Мама — папе.

— Нет. Ну ты что, думаешь, её выбросить могли? Не глупи.

— Я не глуплю. Всякое бывает.

Мама решительно открывает створку ящика под мойкой, ныряет туда.

— Фу! — Я театрально морщусь и зажимаю нос.

Велька смеётся. Хотя ничего вонючего в мусоре у нас нет — там вообще одни луковые очистки. Мама же у нас на всю голову зелёная, она ещё и мусор разбирает — пластик отдельно, бумагу отдельно, батарейки вообще никуда нельзя. Поэтому у нас в мусорке всегда только объедки.

Присела над ведром, копается. Видно, очень её эта ложечка задела. Ну да я её понимаю, на самом-то деле.

— Свет, найдётся. Куда она денется?

— Вот и я не знаю, куда делась, — отзывается мама. — Из дома. Где никто чужой не был.

— Давай хоть чай попьем, — просит папа без особой надежды — если маме что-то втемяшилось, это надолго.

А у меня вдруг щёлкает в голове. Вот это вот, про дом. Где никто чужой не был.

Никто. Чужой...

«Ух ты, какая ложечка! Старинная? Что, настоящее серебро?!» Таня. Изумлённым голосом. И разглядывает на свет.

А из открытого ящика падают ногавки. Прямо под ноги. Точно такие же, как пропали месяц назад.

А почему, собственно, я в это не верю? Почему я не верю им, Анжеле, Наташе, а верю Тане? Только потому, что Анжела выпендривается, а Наташа курит со своим парнем перед тренировкой?

Но ведь это же Таня!

И ложечка...

Но господи... Ведь этого не может быть! Чтобы Таня... Чтобы друг...

А кто сказал, что друг?

Горло перехватывает, дышать трудно. Смотрю вокруг — и вижу, как она была тут. Вот прямо тут сидела, на эти картины смотрела, всё это наше трогала. «Деньги!» — слышу в голове — и бултых пальцами в чашку...

Мама всё ещё копается в ящиках. Заглядывает в самые дальние углы. А я как обмерла. И хочется, чтобы она её нашла. И понимаю уже, что не найдёт. И всё из-за меня.

— Лучше скажи, из клиники ответили? — спрашивает папа.

— А, да! — Мама тут же отвлекается. — Я же как раз хотела тебе об этом — всё нормально, документы приняли. Ждут нас после Рождества. Ну, их Рождества, разумеется.

— Так это же прекрасно! Вель, слышал? Поедете в Германию! — Папа подмигивает ему. — Может, ты у нас хоть шпрыхать начнёшь.

Велька смеётся. О чём они, собственно? Кажется, здесь все понимают, кроме меня.

— А что... — выдавливаю из себя, а голос дрожит. Сейчас они услышат это и догадаются. Ну, про ложечку. Чёрт, надо что-то делать с собой, срочно! — О чём речь вообще? — Изо всех сил стараюсь сделать непринуждённое лицо.

Но вроде никто ничего не замечает. Папа как ни в чём не бывало:

— Вельку берут лечить в Германию. Ты разве забыла? Речь ещё с сентября идёт.

— С сентября? Я... не...

— Ох, Велеслава, тебе вообще ничего не надо, кроме коней твоих! Даже семьёй не интересуешься. —

Мама качает головой. Вот всегда ей надо что-нибудь такое сказать, а!

— Погоди, как так — лечить? В какую Германию? — У меня в голове что-то начинает проясняться.

— В клинику, — объясняет папа спокойно, пропуская мамины колкости. — Там есть очень хорошая, именно для таких случаев, как наш. Маме рекомендовали.

— Но зачем? — Смотрю на папу — на Вельку — на папу опять. Он что, не понимает? — Зачем его лечить, он же нормальный!

— Ну, это уже... — мама обрывает себя.

— Кроль, не смешно. — У папы голос напряжённый.

— Конечно, не смешно! — Вдруг начинаю кричать. — А меня спросил кто-нибудь, что я об этом думаю? Велька нормальный! Ему не нужно ничего! Вообще никакое это ваше лечение! Он талантливый, он круче всех — и этих ваших психологов, и докторов, всех-всех! То, что вы его не понимаете, что никто его не понимает, ещё не значит, что он...

— Нет, я не могу этого слышать...

Мама уходит с кухни. Велька смотрит ей вслед.

— Кроль, прекрати немедленно! — Папа — мне. И за мамой: — Свет! Света! Погоди. Она не хотела, я уверен!

— Нет, хотела! — Успеваю схватить папу за руку, не пускаю из кухни. — Я говорю именно то, что хотела! Что вы к нему привязались? Это я, это я у вас бездарь, тупица! А Велька хороший! Не трогайте его!

Я взвизгиваю так, что уши закладывает. И бросаюсь вон из кухни. Меня душит отчаяние. Слышу, как за спиной гремит упавшая табуретка. Шарахаю дверь.

Наверх, на антресоль, зарыться и ничего не видеть. Не слышать. Не думать. Нет! Нет! Этого не может быть! Потерять Вельку! Ещё и его — потерять...

За дверью — толкотня: мама рвётся, папа не даёт ей пройти.

— А я считаю, что нужно! — долетает до меня. — И именно сейчас! Потому что она не имеет права, она не одна в семье! Ты посадил её на шею!

Врывается в комнату.

— Уйди! — визжу с антресоли.

— Велеслава, надо серьёзно поговорить.

— Нет!

Щёлкает выключателем. Зарываюсь в подушку.

— Выключи! Нет! Нет!

Опять темнота.

— Велеслава, так дело не пойдёт. Ты понимаешь, что речь идёт о серьёзном? Это жизнь твоего брата. Ты хоть понимаешь?

— А ты хоть понимаешь, что ты всех хочешь сделать такими, как тебе надо? Меня, папу, Вельку — всех нас! Ты, ты!

— Господи, Стас, что она говорит?

— Кроль, ты договоришься сегодня.

— Да, да, всех! Тебе кажется, ты у нас одна такая... вся из себя! И тебе плевать, что мы другие! Тебе без разницы, чего мы на самом деле хотим! И папа! И Велька! И я! Ты никогда меня не понимала! Никогда, слышишь!

Я уже реву, голос срывается.

— Света, не трогай человека, у неё истерика.

— Нет, погоди! Ты хоть слышишь, что твоя дочь говорит? Это я, выходит, не понимаю вас!

— Да! И никогда не понимала! Ты хочешь, чтобы Велька заговорил, а ему это на фиг не надо! Он и без этого всё понимает. Он особый, он талантливый, у него свой мир. А тебе плевать! А я... я... ты всё ждёшь, что я стану такая же, как он. Что я стану тебе рисовать, играть, вообще не знаю чего делать. А я бездарь! Бездарь, ты понимаешь?! Я ничего не умею! Вообще! И на конях даже... я трусиха потому что! У нас вон девочка... ей на уроке... руку... училка разодрала! Там такое всё... кровь... рана! А она — вообще ничего! Ни слова! Потому что она не боится. А я боюсь. Всю жизнь всего боюсь!

Что я несу? Не понимаю уже сама. Из меня просто валится, сыплется. Вот зачем я это сказала?

— Господи, какой кошмар! Стас, ты знал?

— Кроль, ты о чём? Какая девочка?

— Так вон в чём дело...

— Нет! — взвизгиваю я. — Нет, не в этом! Ты всё пытаешься сделать проще! И в школу меня не пускаешь из-за этого. Чтобы проще...

— Что?! — Мама аж задыхается. — Нет, Стас, ты слышал? Это мне, что ли, проще? Или кому тут из нас проще? Ты себе хочешь такого же, как с этой девочкой? Проблем в жизни не хватает?

— Зато это была бы моя! Моя только жизнь! А не твоя, поняла?!

— Нет, всё...

Хлопает дверью. Ушла?

— Свет, успокойся!

Хлопает снова. Ушёл? И он тоже?

Падаю в подушку. Реву. Вою. Конечно, меня никто успокаивать не будет. Хоть изорись. Хоть помри тут совсем. Им нет дела!

Свет режет по глазам. Вернулись. Оба.

— Велеслава, поднимись.

— Уйдите все отсюда! Уйдите! Я сдо-о-о-охну-у-у...

— Сядь, я сказала. От слёз ещё никто не умирал.

— Кроль, выпей. Слышишь? На.

Свет режет глаза. Из стакана разит валерьянкой. Стучу о него зубами, глотаю, тут же начинаю икать. Из-за слёз ничего не вижу. Но и так чувствую, что они стоят рядом. Смотрят. И не понимают, что со мной. Но если бы я сама — если бы я только сама понимала!

Господи, как же я себя сейчас ненавижу!..

Это долго ещё продолжалось. Я реву, говорить больше не могу. А они стоят надо мной. Сначала бормочут что-то. Потом молчат. Гладят по голове. Дают чай с чабрецом. Выключают свет. Уходят. А я проваливаюсь в бред. Мелькают перед глазами какие-то лица, и я ищу, ищу среди них — кого? Я не знаю, но меня не отпускает, а вокруг ещё играет какая-то музыка, громко, торжественно, невозможно, и я не могу избавиться от неё и найти то, что мне надо, никак не могу, пока она играет. Я мечусь, задыхаюсь, мне совсем плохо, и я...
...открываю глаза.

В комнате темно. Только внизу горит свет: за столом сидит Велька, над ним — лампа. Велька рисует. Склонившись, что-то сосредоточенно выводит на бумаге. Выпрямляется. Смотрит в окно. В черноту за стеклом. Где не видно даже парка, и если не знать, что он там, то можно не догадаться. Просто чернота, блестящая от дождя. Опять склоняется к блокноту. Шуршит грифелем.

Велька рисует теперь карандашом, графику. Абстракции. Прикольно, но непонятно. Мама недавно водила его к психологу. Не к тому, который с ним всё время работает, а к обычному, из районной поликлиники, надо было какую-то справку. Так она глянула на эти рисунки и такого наговорила! Что в его возрасте это ненормально. Что у ребёнка проблемы с контактом с внешним миром, ему не хватает впечатлений и уровень тревожности высокий. «А может, вы ему просто фломастеры купите?» — выдаёт потом. «Нет, — говорит мама, — он фломастеры ещё в три года перерос. Пастель сейчас осваивает, а вот до масла пока не дошёл. А работы вы нам верните, их в художке на выставку забирают». Мама знает иногда, что надо людям сказать.

И вот Велька рисует, а музыка играет. Заполняет комнату, гудит под потолком. То тише, то громче. То яснее, то почти не разобрать. А они хотят, чтобы этого всего не стало. Этого чуда, моего брата, особого, инопланетного. Хотят сделать его как все. Да они просто не знают о нём ничего...

Струнные стихают, пошли медные духовые. Вступают высоко, чисто, пронзительно. Я лежу, смотрю в потолок и чувствую, как из глаза вытекает слеза. Ползёт мокрой змейкой в ухо. Щекотно, холодно, но пошевелиться боюсь. Чтобы не потерять этой музыки. Только шмыгаю носом.

Велька оборачивается, музыка стихает. Я сажусь в постели.

— Чего не спишь? — Пытаюсь улыбнуться ему, но всё лицо как маска, кожа от слёз стянута. — Ночь на дворе. Надо спать.



Глядит. Молчит. Жгучее чувство стыда заливает меня.

— Веля, прости меня, пожалуйста. Я не хотела... Это всё не про то. Вообще про другое. Просто я... вообще... не знаю... как мне без тебя.

Всхлипываю. А он улыбается. Молчит. Совсем не злится.

— Ну, ты хоть скажи, ты сам-то этого хочешь? Чтобы тебя лечили.

Смотрит. Молчит. Потом слышу:

«Я хочу быть как ты».

— О, нет! Не надо — как я. Это что-то невозможное, бесполезное, такое всё ужасное. Я не знаю, для чего живу, чего от жизни хочу. Вообще не понимаю ничего в себе. Это я хочу быть как ты — талантливой, необычной.

Качает головой. Прикрывает глаза. Молчит.

«Я хочу быть как ты».

Вздыхаю.

— Хорошо. Но ты обещаешь, что будешь... что ты сохранишь... что ты... — «Не изменишься», хочу я сказать, но сглатываю, обрываю себя. Потому что, если не меняться, какое это лечение? А если меняться — это будет уже не Велька. Кто-то другой, но не мой брат. — Что ты останешься собой?

Улыбается. Молчит. Потом подходит и протягивает рисунок.

Росчерки, линии, завитки. Я ничего не разбираю, смотрю и так и эдак. Нет, ничего.

А потом вдруг что-то щёлкает в голове, зрение как будто бы расширяется, и проступает — вот ствол, и графика веток уводит взгляд в небо. Ветер треплет

крону, носит листья, моет ветви дождём. А дерево растёт, растёт из самого центра мира и обнимает собою вокруг всё — весь парк, весь город, всю планету.

И любит нас. Всех глупых, бродящих у него по корням.

Я узнаю его.

— Тоторо, — шепчу одними губами.

— Тоторо, — еле слышно шепчет Велька.

И музыка играет.

Глава 9

Я просыпаюсь от света. Белый-белый, он заполняет комнату, и непонятно, откуда берётся. Всё кажется просторней. И чище. И проще, чем было вчера.

Оборачиваюсь к окну — на улице снег. Хлопья медленно падают на землю, прикрывая вчерашние лужи, мокрые жухлые листья и грязь. Большие, торжественные хлопья, как будто на небе разорвали пуховую подушку. «Растает, — думаю я. — Всё равно же растает, ещё только ноябрь». Но почему-то совсем его не жалко. Как можно жалеть снег? И как можно жалеть меня после того, что вчера было...

— Привет! Я дома! Есть кто живой?

Папа. Вернулся с пробежки. Меня не будил — суббота, он меня не трогает по выходным. А может, это из-за того, что вчера было...

Я закрываю глаза, залезаю с головой под одеяло. Меня нет. Пусть что хотят делают — а меня тут больше нет. Я ушла. Исчезла. Меня не существует. Вчера ещё была, а сегодня — всё.

Открывается дверь. Велька шлёпает босыми пятками в коридор и бросается на папу, пока тот разувается. Папа рычит, поднимается с Велькой на спине, крутит его. Тот визжит и захлёбывается смехом. Выходит с кухни мама, что-то говорит, смеются все вместе. Я бы тоже там смеялась. Ещё вчера. Но сегодня — уже нет. Я сама всё разрушила.

Папа идёт в душ, слышно, как шумит вода: ванная у нас рядом с детской, стенка в стенку.

— Слава? — Мама. Заглядывает в комнату через приоткрытую дверь. — Слава, ты встала? Мы завтракать садимся. Ты с нами?

Молчу. Ничего не отвечаю. Дышу под одеялом. Типа я сплю. Пусть про меня забудут.

Мама уходит. Вода за стенкой стихает. Сейчас папа выйдет на кухню распаренный, свежий, будет пахнуть гелем для душа. Мы с мамой вместе купали ему на день рождения. Мама хотела другой, менее резкий, но я выбрала этот — свежий, ментоловый. Я сказала тогда: «Папа должен пахнуть брутально!» Мама долго со мной спорила, но согласилась, когда консультант обмолвился, что этот запах быстро выветривается, а тот, который выбрала мама, будет держаться весь день. Хорошо, кивнула тогда мама, берём твой. Пусть папа пахнет брутально, но недолго. Потому что лучше всё же ему пахнуть собой.

Я её тогда не поняла. А теперь, кажется, понимаю. Лучше вообще всегда быть собой. И быть, и пахнуть. Потому что всё равно другим не получится. И как бы я сейчас ни хотела, чтобы вчерашнего не было... ничего не было... Всё равно придётся вылезать на кухню и появляться у них на глазах. И у них, и у Вельки.

Стекаю вниз, плетусь в ванную. Отражение смотрит на меня из запотевшего зеркала, как на чужую. Удивлённо. Машу ему в ответ: привет, это я, не узнало? Пожимает плечами.

Все уже на кухне. Пахнет тостами и сыром.

— Мы тогда, помнишь, ещё так низко лагерь поставили, что туман всё время от реки собирался. — Папа. Громко. Размахивает руками, показывает что-то. — И ты мёрзла, а по палатке мыши катались. Помнишь? Скатятся — шу-у-ур! — и опять. Шу-у-ур! — и снова. Мы понять не могли, что это, а они, оказывается, залезали по кусту, прыг — и вниз.

Мама смеётся. Велька блестит на них глазами.

— О, Славка, — говорит папа и выдвигает из-под стола для меня табуретку. — Садись, гостем будешь.

— Слав, пожаришь себе тосты сама? — Мама. — Тут последний остался. И он остыл уже, наверное.

— Остыл-остыл, и за это я его сейчас торжественно прикончу, — говорит папа, забирает последний кусок из тарелки. Мажет маслом. Жареная корочка хрустко ломается под ножом, масло топится, растекается и впитывается в светлую мякоть. Это так аппетитно, что я чувствую себя жутко голодной.

— Я вам тоже пожарю. Хотите? — спрашиваю и сама слышу, какой у меня странный голос — хриплый, ломкий, как этот тост.

— Давай, — кивает папа с набитым ртом.

И продолжает рассказывать о походе, когда они с мамой ещё ходили вместе. Господи, это же было сто лет назад! Когда я родилась, они уже никуда не ходили, папа один. А ведь помнят. Всё помнят.

А я что буду помнить через тринадцать лет? Вот это вот снежное утро? Вот этот вот завтрак? Или то, что было вчера?..

Жарю шесть кусочков и сажусь за стол. Мама греет чайник снова. Велька размазывает варенье по тарелке. Я ем, не поднимая глаз. Как он, молча. У Вельки серебряная ложечка. Последняя из той пары. И в этом тоже виновата я. Они этого ещё не знают...

Папа с мамой болтают, им и без нас хорошо, им вообще не нужен никто. Вот так исчезнешь, и никто о тебе не вспомнит. Может, и правда свалить куда-нибудь? Уехать к дяде Паше на Алтай, поселиться в заимке? Или как там её — избушка в тайге, короче. Собирать грибы, ягоды. А родителям письма писать, настоящие, на бумаге, как в позапрошлом веке. «Дорогие мои папа и мама, зима в этом году пришла рано, снега намело по крышу, ямщики не ездят, до весны почты от меня не ждите...»

— Кроль, ау? — Папа заглядывает в глаза. — Ты с нами, нет?

Смотрю на него — и чувствую, что по щекам текут слёзы. Стираю ладонью. Хорошо, папа не замечает. Ну, или делает вид.

— Гулять пойдём? Погода сегодня зачётная.

Киваю. Оказывается, я могу смотреть ему в глаза. И маме. И Вельке. Хотя с ним всё просто — он не обижается. А мама с папой не напоминают.

И во мне вдруг расцветает благодарность, большая-большая, как лист лотоса, — я видела в ботсаду, они огромные, как стол. И вот во мне благодарность такая же, размером со стол, — что они меня не трогают. Не задают вопросов, не теребят.

Это не значит, что я им не нужна. Это значит, что они меня понимают.

Погода и правда зачётная — воздуха много-много, и он холодный. Зарываюсь носом в шарф. Непривычно, ещё вчера было теплее. Но вчера и снег не шёл, а сейчас идёт и идёт, как будто его прорвало. Ветра нет, и деревья застыли, стоят, запрокинув головы, раскинули ветки, как руки, ловят снежинки ртом.

Это Велька так делает — замирает на дорожке, раскидывает руки, глаза закрыты, ловит снежинки ртом.

— Вель, ну ты что как маленький! Снега никогда не видел? Пойдём.

Мама слегка толкает его в спину. Велька счастлив. Он смеётся. Срывается с места и несётся по дорожке. Сворачивает на аллею, скрывается с глаз.

— Эта погода на него плохо влияет, — говорит мама встревоженно. — Слав, ты не посмотришь за ним?

— Никуда он не денется, — говорю. — Идём, он вон там, за кустами.

— Откуда ты знаешь?

Я пожимаю плечами. Это же как раз то, чего я не могу рассказать.

Велька и правда там, возле своего Тоторо. Кусты совсем лысые, его видно. Вжался в ствол, пытается дуб обнять. Смешной — разве такой обнимешь?

Мама находит в кустах прогал, протискивается, идёт к Вельке.

— Дубик болеет? — долетает до нас. — Дубику плохо?

Ох, мама, ну вот неужели нельзя с ним не сюсюкать, а по-человечески говорить?

Я стою рядом с папой. Я знаю, что надо извиниться. Если что-то и надо мне сделать сегодня, чтобы день не пропал, это сказать два слова. Всего два.

Но я не могу.

Папа тоже молчит. Делает вид, что с интересом следит за мамой и Велькой.

— Пап, — говорю я.

— Что, Кроль?

— Пап, а ты ещё за декабрь за секцию не платил?

Я сама не понимаю, что из меня вдруг вылезло. Хотя да, я об этом думала. Что не смогу смотреть Тане в глаза. Папе смогла, маме смогла. Вельке тем более. А Тане не смогу уже никогда. Потому что это она меня предала, а не я её.

— Нет ещё, завтра буду. А что?

— Не плати за меня пока, ладно?

— Чего? — Папа смотрит во все глаза. Думает, наверно, что ослышался. Нет, па, ты не ослышался.

— Ты не очень обидишься, если я... Ну, если я не буду ходить... больше... пока...

— Так «больше» или «пока»? — спрашивает, и голос мне его не нравится. Правда, что ли, обиделся?

— Ну, больше... или пока... Какая разница?

— Понятно, — говорит папа, и я вижу: правда. — Ну, если без разницы, то и мне без разницы. Что там у тебя происходит. Почему ты бесишься. Говорить ничего не хочешь. Взрослый уже человек. Поступай как знаешь.

— Ну пап! — Меня охватывает отчаяние. Что же я ничего сделать-то по-нормальному не могу?! Ни извиниться, ни от секции отказаться. Как ни повернись,

всё делаю не так и везде виновата. — Ну, я не знаю, что тебе сказать. Ничего у нас не происходит. Я просто... надоело мне. Я думаю, это... ну, не совсем то, что я ищу. Я же не собираюсь этим заниматься всю жизнь.

— Ага, ага. Не то, что ты ищешь, значит. — Папа качает головой. — Ну ладно. Дело твоё, конечно, Кроль. Но я тебе вот что скажу. Я много таких людей знаю, кто всю жизнь не понимает, чем хочет заниматься. И то им не так, и это не подходит. Там не получается. Тут учиться надо. А где-то ещё на них косо посмотрят, так они сразу побежали — ах, это не моё место! А потом глядь, им под пятьдесят, и их куда-то прибило, куда они вообще не собирались. Просто шли по пути наименьшего сопротивления, и всё. И удовлетворения нет. И поезд ушёл. Понимаешь?

— Понимаю.

Смотрю себе под ноги. Ковыряю дорожку. Слышно, как мама сюсюкает с Велькой, а он показывает в небо и кричит: «А! Та!» «Птички, — воркует мама. — Летают, да». А Велька хочет сказать, что снег кончился и небо чистое. И кто после этого кого понимает?

— Что у вас там стряслось вчера? Мне-то ты можешь рассказать? — спрашивает папа. — У кого была рука? Я ничего не понял.

— У Тани.

— И что? Совсем плохо?

Киваю: да. И хочу сказать, что я перевязала. Но придётся рассказывать тогда, что она у нас дома была. И папа догадается про ложку. А я не могу так. Хотя мне смысла нет выгораживать Таню. Но я просто так не могу.

— Ну и дальше что? В чём повод, чтобы не ходить?

— Формально повода нет, — соглашаюсь я.

— А не формально?

Молчу. Ковыряю дорожку. Сейчас дырку прокопаю.

— Ладно, Кроль, скажи так: тебе правда надоело и не нравится?

Мотаю головой: нет.

— Какие-то проблемы в группе?

Мотаю опять: не в группе же. И не проблемы. А так...

— Понятно. Смотри, Кроль, когда ты бросила балет, я ничего не сказал...

— Я не бросила, — перебиваю. — Это меня.

— Неважно. Когда ты перестала ходить на балет, я ничего не сказал. Про скрипку молчу, там не судьба просто. Но когда ты бросила музыку, мама была против, ты помнишь. И я тогда был на твоей стороне. Потому что ты взрослый человек, ты можешь сама понимать. Не твоё — конечно, насиловать никто не станет. Но в тот раз это был явно обдуманный шаг, спланированный. А сейчас я же вижу, что он спонтанный. И меня эта спонтанность смущает. Так что извини, но твою сторону я принять не могу.

— Зато мама сможет, — хмыкаю я. — Ей только за счастье, что я на конюшне больше пропадать не стану.

— Может. Но я тебя прошу: не надо поспешных решений. Давай договоримся так: я всё-таки покупаю абонемент на декабрь, ты до конца года доходишь, а дальше — как знаешь. Поймёшь, что не твоё, — впе-

рѣд, прекращай. А может, ты ещё и в соревнованиях участие примешь?

Я вскидываю на него глаза. Издевается он, что ли?

— Мне Елизавета Константиновна не предлагала, это она только тебе...

— А секции особое приглашение не нужно. Там кто хочет записывается, и всё.

— Вы тут ещё не замёрзли?

Мама. Вылезает за Велькой из кустов. Он срывается и бежит по дорожке дальше. Мама берёт папу под руку, идёт с ним.

— Там дуб такой необычный, ты видел? Он, похоже, лопнул, его заложили кирпичом. Не знаю, это хорошо вообще для дерева, ты как считаешь?

Папа что-то отвечает. Я не слышу. Я гляжу на Вельку. На деревья. На небо. Поднимается ветер, и там, сверху, всё время что-то летает: птицы, мокрые листья, хлопья снега с веток, снова птицы и облака.

А ведь что хотела, я так и не сказала.

Подхожу, пристраиваюсь рядом с папой, с другой стороны. Втискиваю свою ладонь в его.

Два слова. Только два.

Извини.

Меня.

Не говорю, не шепчу, а про себя. Как Велька.

Папа тихонько пожимает мне руку.

Когда я в следующий раз прихожу на занятие, я чувствую, что совершенно к нему не готова. Хотя я готовилась два дня, обдумывала ситуацию тридцать три раза и поняла вот что.

Во-первых, Таня мне не друг, никогда им и не была, а теперь подавно, раз она поступила подобным образом. А это значит, что я могу с ней не общаться. Я не буду ей ничего предъявлять и даже не намекну про эту несчастную ложечку, которая не нашлась, к слову. Я просто не стану её замечать.

Во-вторых, ложечка — ещё не значит ногавки, а ногавки — не значит телефон. Последнее — точно. Потому что Анжелка могла его посеять где угодно, она вообще такая, Маша-растеряша. Поэтому примыкать к Анжеле и компании я тоже не стану. Пусть разбираются сами. Но и про себя рассказывать им ничего не буду. Ещё не хватало! Если я сама такая дура, что не поняла, с кем имею дело, так это только моя беда.

В-третьих... В-третьих, не знаю. Я так хорошо себе представляла уже всю эту ситуацию, как приду на конюшню такая гордая, не замечая Таню, которая бросится ко мне — а она непременно бросится, потому что ей же надо, чтобы кто-то был на её стороне, а кто ещё, если не я. Но я прохожу и делаю вид, что её нет. И она сначала в шоке. Она просит, нет, умоляет объяснить, что случилось. А потом догадывается. И раскаивается. Но дружбы уже не вернуть. Дружба просто так не возвращается. Я так себе хорошо всё это представляла, что не придумала никаких вариантов, если что-то пойдёт не так.

Однако всё сразу идёт не так.

Потому что на манеже становится известно, что Елизавета Константиновна даёт мне Пегаса. А это кошмар.

Пегас у нас не тот, который с крыльями и поэтам вдохновение приносит. Наш Пегас крупный, широко-

костный, с мохнатыми щётками на ногах и в мелкую бурую гречку. Не тяжеловоз, но похож. И поведением тоже — такая же несдвигаемая махина. В смысле большой и упрямый. Его обычно дают новичкам, потому что тогда его под уздцы ведёт тренер и конь не сопротивляется. Это на нём папа занимался в первый раз. А вот без тренера он ужасен. Таня рассказывала, что, когда всех лошадей выводят гулять, он и тогда не бегают и не дурачится. Он стоит и дышит. И на тренировках он бы рад стоять и дышать. Надо идти — он останавливается, надо рысить — он проскачет три темпа, лениво, как будто сейчас ляжет, и переходит в шаг. И сделать с этим ничего нельзя. Совсем. Он широкий, на нём ноги как на шпагате, и мои шенкели для него, что слону дробина, как говорит папа. Это называется конь-недвижимость.

— Валя, ну что такое! — кричит Елизавета Константиновна на весь манеж. — Пора уже разозлиться! У тебя хлыстик есть. Возьми его как шпагу. Выверни. Выверни, говорю! И тресни пару раз хорошенько! Чтобы попа загорелась! А то выдумал он стоять!

Но я как папа, я терпеть не могу бить лошадей, для меня это мучение. Иногда, в самом крайнем случае, можно немного шлёпнуть, совсем чуть-чуть, просто чтобы напомнить о себе. Но чтобы вот так — это же невозможно! Я краснею, потею, пихаю Пегаса ногами, шепчу: «Ну давай же, давай!» — но он как стоял, так и стоит. Только хвостом крутит. Как будто чувствует, что я не смогу его выпороть и можно надо мной безнаказанно издеваться.

— Валя, долго это будет продолжаться? Ты слышишь меня? — доносится голос тренера, и я нерешительно

тельно поворачиваю хлыст. Ну Пегасик, ну миленький, пошли! Ну всё, я тебя предупреждала!

Шлёпаю.

Безрезультатно.

Ещё раз.

То же самое. Как будто ничего не происходит.

— Валя, сильнее! Он не чувствует даже.

Размахиваюсь и шлёпаю сильнее. Хлыст свистит в воздухе, падает на гречневый зад — Пегас только слегка вздрагивает и брыкается лениво, как от мухи.

— И ногами! Удар — и ногами посыл вперёд. Тогда это команда, а не наказание. Слышишь?

Я слышу. Слышу и делаю. Пегас пробегает рысью полкруга и снова переходит в шаг.

Я чувствую, что больше не могу. У меня уже сил нет, я вся мокрая, мне плохо и стыдно. Ужасно стыдно за всё, что происходит. А девчонки вокруг едут рысью как ни в чём не бывало. Даже Ульяна. Только смотрят на меня с сочувствием.

— Валя, если ты сейчас же не заставишь его двигаться, я сама его тресну! Поверь, мало не покажется! — кричит Елизавета Константиновна, и я вижу, как она достаёт из угла стоящий там здоровый манежный хлыст.

Во мне всё ахает. И в Пегасе как будто тоже.

— Я сама! — кричу и шлёпаю его снова.

И тут начинается! Кажется, я его не очень сильно ударила, не сильнее, чем раньше. Но он, видимо, что-то понял — и как начнёт козлить на месте! Прыгает, подбрасывает задом, старается меня скинуть. Настоящее родео! Я сижу, как на детских аттракционах, на каких-нибудь дурацких качельках-лошадках — вверх-вниз, вверх-вниз.

— И посыл ногами! Ногами, Валя! — кричит Елизавета Константиновна, а я уже не понимаю, где она, где мы, где остальные лошади — всё крутится перед глазами. Какой уж тут посыл ногами, я ногами держусь, лишь бы не слететь.

Тут что-то грохочет сзади — это Пегас бьёт в деревянную стенку манежа. Пугается сам и срывается с места. И не только мы — все вокруг скачут в разные стороны.

— Сидеть! Сидеть! — непонятно кому кричит Елизавета Константиновна.

А что ещё остаётся делать? Я, конечно, с удовольствием бы слезла, но как?!

Мы несёмся во весь опор, я ещё ни разу так не скакала. Все вокруг как-то быстро со своими лошадьми справляются, одна я продолжаю нарезать по манежу. Кто бы мог подумать, что Пегас может развивать такую скорость!

— Повод! — кричит Елизавета Константиновна. — Повод не тяни, отпусти повод!

— Я! Не! Мо! Гу! — Это, оказывается, я кричу. Кричу, потому что мне страшно: за что я держаться-то буду, если отпущу повод?

— Бросай! Он не остановится!

— Нет! — визжу, проносясь мимо.

— Потяни — отдай, потяни — отдай!

Ага, это не так страшно. Пытаюсь сделать: чуть потянуть — и тут же отдать, ещё потянуть — и снова отпустить повод, насколько могу.

И вдруг — подействовало: Пегас начинает замедляться. Нет, не останавливается совсем, но меня хотя бы не кидает так сильно, я нормально сажусь в седле

и сжимаю колени. Давлю его на стенку, чтобы он там скакал.

Но оказалось — зря.

— Объезжай! — кричит Елизавета Константиновна, однако поздно: как в замедленной съёмке я вижу, как мой Пегас вытягивает шею, прижимает уши и на полном скаку несётся на лошадь впереди нас.

— Мама!.. — кричу я и тяну повод, но разве здорового Пегаса перетянешь?

А лошадь эта, кобыла Картинка, соображает быстрее: она разворачивается и лягает копытами.

Пегас прыгает в сторону. Меня кидает, я падаю ему на шею и вцепляюсь со всей силы, чтобы не свалиться. И кричу. Сама себя не слышу, но чувствую, что кричу. Потому что мне чем-то железным сжимает ногу, и её сводит до самого бедра.

А Пегас с Картинкой скачут в разные стороны.

— Даша, а ну по заднице ей! Это что ещё такое! — кричит Елизавета Константиновна.

Кажется, она уже вне себя от всего, что происходит. Свистит хлыст, и Картинка проносится мимо как ошпаренная. Но быстро останавливается — Даша хорошо справилась.

А ведь Даша — маленькая, она одна из моих «хвостиков». И вот какой я ей подаю пример? Кажется, я вот-вот свалюсь. Уже почти не держусь, нога болит ужасно. Пегас неспешно рысит, а я плюхаюсь, как мешок. Но, к счастью, ему тоже надоели эти выкрутасы. Или он просто устал. Но бежит всё медленнее, медленнее и наконец переходит в шаг.

— Сюда поворачивай! — командует Елизавета Константиновна. Она уже стоит в центре манежа. Не

кричит, но по глазам видно, что ничего хорошего это не предвещает. — Сюда, сюда. Вот ты думаешь, почему я хочу, чтобы вы сразу команды выполняли? — говорит, уже взяв Пегаса под уздцы. — Ты думаешь, мне нравится, чтобы их били? Просто так бить нельзя, я тебя первая ругать буду, если ты их просто так пороть станешь. Но когда тренер говорит, надо наказывать.

— Почему? — всхлипываю я. Нет, не плачу, но так это звучит, что мне саму себя жалко.

— Потому что, если он привыкнет не слушаться, его хуже придется воспитывать. Держись, — говорит и вдруг как шлёпнет Пегаса по задку. Он аж взвился. Я кричу. — Не орать! Держись, я сказала!

— Дайте я слезу!

— Сиди! Он должен тебя слушаться. Если ты сверху будешь, он запомнит и в следующий раз не станет так себя вести. — И снова шлёпает его.

Пегас прыгает. Меня опять кидает ему на шею.

— Я не хочу, чтобы он меня запоминал так! Я не хочу следующего раза!

— А что делать? Если бы ты ему сразу всыпала, у него бы сейчас попа не горела!

И снова! Бедный Пегас дёргается и замирает. Я ногами чувствую, как тяжело он дышит. Тяжело и испуганно. Мне и самой ужасно страшно, как будто это меня бьют, а не коня.

— Всё, походи в центре. Остальные, поехали галопом! — кричит Елизавета Константиновна и отходит. Больше не глядит на нас.

Я смотрю ей вслед и чуть не плачу. Ну вот как так можно?!

Хорошо хоть этого позора никто не видел. Ни папа. Ни Таня. Вообще, странно, скоро тренировка кончится, обычно она приходит в это время. А сегодня нет и нет.

Мы ходим по кругу, расшагиваем коней после тренировки. Я стараюсь ни на кого не смотреть. Мне стыдно и плохо. Я себя снова чувствую как тогда, когда Ульяна избила поняшку. Правда, кем именно из них — Ульяной или поняшкой, — не могу понять.

— Валя, дай савраску, — зовёт вдруг тренер, и я не сразу понимаю, что ей надо. — Ну, чего такая кислая? А я тебе сразу говорила, нечего теперь плакать.

— Я не плачу. Я так. Нога.

— Это Картинка, что ли? Сильно? — Она, похоже, встревожилась. Кажется, я что-то не то сказала. Ещё не хватало теперь, чтобы из-за меня и Картинке влетело.

— Да нет, слегка. По голени. Нормально уже.

Но её так просто не проведёшь.

— В голень? Так, мне ещё травмированной не хватало. Сейчас быстро идёшь домой. Лёд приложить. И йодную сетку. А если совсем плохо, то к врачу.

— Да я знаю, знаю, — киваю и прыгаю из седла. Тут же охаю — болью пробивает до бедра.

— Болит? — Елизавета Константиновна качает головой. — Иди посиди, потом глянем, что там у тебя. — И сама садится в седло.

Нет, не садится — взлетает. И тут же трогается с места лёгкой, какой-то парящей рысью. А я замираю на месте, даже забыв, что мне вообще-то больно стоять. Гляжу на неё и не могу отвести глаз.

Я впервые вижу Елизавету Константиновну в седле. Нет, конечно, надо было догадаться, что она хорошо ездит, всё-таки мастер спорта. Но я и подумать

не могла, что это так красиво! И что конь так сильно зависит от всадника. Недаром Таня говорила, что конь — отражение всадника. Ленивый, неповоротливый Пегас преображается. В нём откуда ни возьмись появляются лёгкость и стать. Ничего он не тяжеловоз! Он гнёт шею, как спортивная лошадь, он высоко поднимает ноги и бежит пружинисто и легко. А Елизавета Константиновна сидит, как точёная статуя. Кажется, она не трогает его и мускулом, конь просто сам, не замедлившись, не сбившись с шага, идёт ровной рысью, поворачивает в углу и едет в другом направлении.

— Ай, хор-рошо, ай, молодец! — слышу, когда он проходит мимо.

Лицо у Елизаветы Константиновны сосредоточенное, она смотрит как будто в пустоту, в ей одной доступную точку, куда-то чуть выше ушей лошади, и говорит, словно оглаживает Пегаса твёрдой, но любящей рукой, — он весь подтягивается и пускается лёгким, размеренным, картинным галопом. Добегает до угла, поворачивает. Даже подумать нельзя, что пять минут назад это было озлобленное, тупое и стрёмное животное, которое не слушалось, да ещё и напало на другую лошадь. «Смотри, смотри, как я умею! — говорит он каждым своим движением. — Я всё для тебя сделаю, всё что хочешь. Смотри же на меня!»

Выезжает в центр. Елизавета Константиновна что-то делает, и Пегас идёт боком, ставя ноги крест-накрест. Доходит до стенки, будто отталкивается, и так же бежит в другую сторону, по диагонали. Выездка, понимаю я. Высшая школа верховой езды. Высший пилотаж.

— Ай, мол-лодец, ай, хор-рошо! — слышу, когда они проходят мимо. Каким-то особым, рычащим, нечелове-

ческим голосом, видимо доступным коням, — с людьми Елизавета Константиновна так никогда не разговаривает. Выезжает в центр, останавливается. Наклоняется к морде Пегаса, а сама поднимет глаза, словно ищет кого-то. Находит меня, всё ещё в центре манежа. — Валя, ты что здесь? Как нога?

— Нормально. Отлично! — кричу я. Потому что ужасно счастлива, потому что я сейчас всё для неё готова, хоть снова лезь в седло и занимайся ещё час.

— На́ тогда.

И бросает мне в руки снятую с коня уздечку. Пегас фыркает, опуская голову, потягивает спину. И пускается рысью, идёт только от ноги. Проходит все повороты, выполняет змейку. Елизавета Константиновна продолжает поцокивать языком и приговаривать, сосредоточенно глядя перед собой. Конь идёт, высоко поднимая ноги, и его голова без уздечки выглядит непривычно голый, как лицо человека, который обычно носит очки и вдруг их снял.

А я стою, смотрю и понимаю то, о чём только читала и смотрела на видео. Что верховая езда — это общение, и, если ты знаешь язык, можно обойтись без принуждения. Совсем. Без хлыста, без железа во рту. Без всего этого. Если есть силы, терпение — и если знаешь этот язык, которому надо учиться многие годы.

Елизавета Константиновна знает. А я — нет. И из-за меня Пегас вышел за рамки, и из-за меня ему досталось. За всадника всегда расплачивается конь.

Мне становится жгуче стыдно.

— Таня, поводи! — кричит в этот момент Елизавета Константиновна, легко спешившись, и я вскидываю глаза, оборачиваюсь ко входу: сейчас оттуда прибежит

Таня, возьмёт у меня уздечку, будет прохаживать Пегаса, чтобы отдохнул.

Но там никого.

— А, забыла, — морщится Елизавета Константиновна и озирается в растерянности.

А я чувствую, что у меня в душе открывается какая-то дверка. Там, где обычно была Таня. Но сейчас за ней пустота.

— Можно я? — спрашиваю, чтобы только захлопнуть её.

— Ещё чего, ты садись иди.

— Можно мне! Можно я! — наперебой начинают кричать девчонки вокруг. Ульяна, Даша, Аглая — все мои «хвостики». Стоят со своими лошадьми в поводах, а туда же.

— Что — можно? Идите рассёдлывайте, — ворчит Елизавета Константиновна и забирает у меня уздечку, надевает на Пегаса, ведёт его. — Ты сядешь сегодня, нет? — кидает мне недовольно. — Старты скоро, ты что, соскочить решила?

Я киваю и хромаю, иду на зрительские кресла.

А дверка всё не закрывается. Хлопает от сквозняка. Хочу спросить о Тане, но молчу. Потому что мне страшно услышать ответ. Что Таню выгнали. Позвонил Анжелин папа-депутат — и Таню выгнали. Вот так сразу. Ульяну — нет, а её — да.

Но ведь этого не может быть! Нет, я к такому не готовилась. Давайте я с ней поговорю! Давайте объясню ей, что так нельзя. И чёрт бы с ней, с ложкой! Но ведь лошади для Тани — это жизнь!

— Валь, ты живая вообще? — Елизавета Константиновна. Подходит, смотрит с тревогой. Пегас тоже

косится из-за её плеча. — На тебе лица нет. Как нога?

Киваю. Нога нормально. Нога выздоровеет. Пусть бы уж лучше нога...

— А я говорю, что перелома нет, ушиб только.

Вечером у нас консилиум. Я лежу в гостиной на диване. Мама с папой рассматривают ногу, и каждый пытается что-нибудь умное сказать. Нога и правда выглядит ужасно: опухла, покраснела и посинела. Я уже извела на неё три килограмма льда и вся перемазалась йодом, пока делала сетку. Пришлось пропустить папину тренировку. А Велька, как вернулся из художки, от меня не отходит. Держит за руку, обнимает. И правда легче становится. Как будто он умеет боль снимать.

— Я бы всё равно врачу показала, — качает головой мама. — Мало ли.

— Ну мам, я сто раз уже говорила! Обычный ушиб, мы проходили. Отёк тканей, слегка задета надкостница. Потому что тут голень, тут мяса на кости почти нет, что ты хочешь. Но это нестрашно. Надо только будет гелем мазать регулярно. И все дела.

Я, правда, молчу, что гелем просто так не помажешь, — на коже рана от копыта, небольшая, но при ранах обезболивающими гелями мазать нельзя. Так что пока моё единственное спасение — йодная сетка. Только маме это знать необязательно.

— Человек учёный, Свет. Видишь, разбирается.

Папа, кажется, вообще не переживает. Он считает, что в спорте травмы неизбежны. Они даже как будто нужны. Иначе какой же это спорт? А вот мама так не

считает. Может, поэтому она никаким спортом и не занималась никогда.

— Ладно, зато хоть дома посидит, — говорит и прямо-таки довольна.

— Какой — дома! — возмущаюсь. — У нас старты в конце месяца!

— Ты соображаешь — с такой-то ногой?!

— А что нога? Она ни при чём, нога.

— Что?! Станислав!

— Свет, но Славка же права — эта часть ноги не используется при езде.

— Как ты ногу делишь — эта часть используется, а эта не используется? Нога — она одна. И напряжение везде.

— И у нас действительно соревнования скоро.

— Да вы помешались на своих лошадях! Ничего не знаю — неделю ребёнок дома! При ушибе нужен покой. Это вам любой врач объяснит. И на курсах должны были говорить.

Тут мама, конечно, права: это нам говорили. Но так как курсы были для туристов, то считалось, что человек даже с травмированной ногой будет вынужден передвигаться. Ну, просто в горах нет возможности неделю на одном месте сидеть. Поэтому нам говорили не только что нужен покой, но и как сделать, чтобы избежать лишнего напряжения, — всякие там шины, повязки. Но маме, конечно, лучше об этом не рассказывать.

— Мам, не волнуйся, я справлюсь. Дай ещё льда.

— Справится она... — Мама качает головой. — Умные все стали, ужас!

Но уходит на кухню и возвращается с пакетом из морозилки. Велька следит за ней внимательно. Когда

я кладу пакет на ногу, хватается за него обеими руками.

— Осторожно! — Шиплю. — Не так. Чуть-чуть держи. Вот. — Переставляю его ладошки, чтобы не давил на ногу. Он послушно держит. Лицо серьёзное. Помогает.

— Вообще, Свет, нам твоя помощь нужна, мы без тебя не справимся, — говорит вдруг папа.

— Надо же. — Мама притворно делает большие глаза. — Что же так?

— Это будут старты не простые. Костюмированные. Перед Новым годом же. Так вот...

— Дай угадаю! Вы хотите, чтобы я вам соорудила костюмы по-быстрому?

— А кто у нас десять лет проработал в театре?

— Ну, знаете ли, друзья! Как лечиться, так они меня не знают. А как костюмы им клепай...

— Свет, я не думаю, что тебе это слишком трудно будет. Костюмы-то для детского утренника.

— Хорошо. И что там надо?

— Всё просто, мам, нужен образ.

— Ха! Это тебе кажется просто? Это же основное!

— Погоди ты! Образ, к нему костюм и представление.

— Это как?

— Это когда выходишь и что-то делаешь. Показываешь, например. Или танцуешь. Я не видела ни разу. Мне девчонки объясняли, у них такие старты каждый год.

— Танцуешь? С конём? — Мама опять делает большие глаза. Но теперь искренне.

— При чём тут конь! Кто-нибудь подержит коня-то. А потом садись и едешь. Прыгаешь в смысле.

И ещё музыка нужна. Это всё вместе — как бы твой образ, понимаешь?

— Ты мне одно скажи: на коня костюм тоже шить надо?

— Нет, Свет, не надо. — Папа смеётся. — Обойдёмся без коня.

— Коню тоже можно, почему же. Вальтрап там красивый. Шапочку на ушки. Некоторые крылья даже приделывают.

— Это Пегасу, что ли? — подкалывает меня папа.

Я корчу рожу: очень смешно, ага!

— Так, ладно. Я всё поняла. С тобой просто, — говорит мама папе. — Ты у нас будешь Пробитый Турист. Возьмём твою старую брезентуху, рюкзак, верёвку, на каску — фонарик...

— Свет, мне ещё во всём этом прыгать, не забывай.

— Прыгать? Ах да. Ничего, закрепим, чтобы не болталось. А тебе... — Мама задумывается, смотрит на меня оценивающе. Сейчас придумает мне какую-нибудь Красную Шапочку, я её знаю.

— Рони, дочь разбойника! — говорит папа. И подмигивает.

Я смотрю удивлённо — неужели помнит?

— А может, Пеппи Длинныйчулок? — предлагает мама. — Вы там как раз все в гольфах ходите.

— Фу, это всё... зашквар!

— Велеслава!

Папа смеётся:

— А ты чего сама хочешь, Кроль?

— Я? — Я аж зажмуриваюсь от удовольствия. Потому что давно придумала, осталось уговорить маму. — Я хочу быть Гермионой!

— О нет! Это без меня. — Мама закатывает глаза. — Я эти колпаки, шарфы и плюшевых сов уже насмотрелась.

— Ну мам!

— Что — мам? Придумай что-нибудь оригинальное. Каждый карнавал теперь стал как выпускной в Хогвартсе. Вот спорим, у вас тоже будет как минимум три Гарри Поттера.

— Не будет! — ухмыляется папа.

— Это почему ты так уверен?

— Скорее тринадцать Гермион, там же одни девочки.

— Что, мальчиков вообще нет? Ни одного?

— Как же нет? Я! — говорит папа гордо и смеётся.

Мама качает головой:

— Не понимаю. Почему мальчики не ходят заниматься на лошадях?

— Не знаю, — пожимает плечами папа. — Такой вот спорт.

Они говорят, а обо мне как будто забыли. И я хочу сказать, что в прошлом году были мальчики в младшей группе, мне Ульяна рассказывала. А сейчас есть Антон, который не занимается, но ходит вместе с Наташей. Но молчу. Потому что тогда они совсем уйдут от темы — и плакал мой образ.

— Ну и что, что будут Гермионы, — вклиниваюсь в их разговор. — Мне теперь нельзя, что ли?

— Слава, я сказала. Если очень хочется, делай костюм сама. Мне скучно делать, как все.

— Ага, как папе старую куртку напялить, это весело. А как мне!..

— Слав, прекрати. Правда. — Папа качает головой и показывает мне глазами, что я не права.

О'кей, я опять не права. Я одна в этой жизни ничего не понимаю. Отвернулась. Надулась.

И тут Велька говорит отчётливо:

— Тоторо! И, — на вдохе, — тра, — на выдохе. И вместе: — Тоторо! И-тра!

Мама с папой переглядываются. На лицах — и радость, и недоумение. Недоумение, потому что они его не понимают. А радость — потому что Велька что-то сознательное сказал. Кажется, сознательное. Он так редко это при них делает, что они и не знают, что он умеет.

— Ты хочешь играть? — Мама, сюськая.

— Ты хочешь посмотреть мультик? — Папа туда же. До чего они становятся жалкие, когда дело доходит до Вельки. Как будто бояться. Но чего? Того, что в нём?

А он завёлся, его уже заело:

— И-тра, и-тра, и-тра! — твердит, лишь бы пробиться за их стенку, лишь бы они его поняли. — Тоторо итра! — И показывает на меня.

— Это ты мне костюм придумал? — спрашиваю. Кивает часто и быстро. — Я буду Тоторо?

Мотает головой: не угадала.

— Тоторо — он, — говорит, а сам показывает на себя. О себе он говорит только в третьем лице, по-другому пока никак. — Итра — ти, — тыкает в меня пальцем.

— С утра? Игра? — перебираю я. И вдруг доходит: — Сестра!

— А-а-а! — верещит звонко. Размахивает руками, пакет с растаявшим льдом шлёпается на пол. А Велька срывается и бежит в комнату.



Мама подбирает пакет и так и застывает с ним в руках. Папа тоже как будто обмер. Они всегда такие становятся, когда с Велькой что-то не то.

Но с ним всё то. Возвращается с блокнотом и карандашом. Бухает его на журнальный столик, сам становится на колени и начинает быстро-быстро рисовать. Ровными, уверенными штрихами. Я смотрю из-за его плеча, но ничего не разобрать: кажется, что Велька просто заштриховывает страницу. И тараторит без умолку:

— Тоторо и! Дош. И тра! Ийе ме. Коня пи! Итра пиг'ла. Тоторо та'уе!

Мама с папой не сводят с него глаз, боятся вздохнуть. Кажется, это впервые, что Велька сознательно что-то делает вместе с нами. И так долго объясняет.

Но они его не понимают. Совсем. Я — да, точнее, отдельные слова, но о чём он, до меня не доходит.

— Тоторо идёт, — начинаю переводить неуверенно. — Дождь. Сестра идёт вместе. Конь прыгает. И сестра прыгнула. Тоторо... танцует? Вель, ты о чём, а?

Но он только повторяет как заведённый, уже без пауз:

— Тоторо ийе, итра ийе ме, коня пи, итра пи, Тоторо та'уе!

И заканчивает рисунок, отталкивает от себя и сам отваливается от стола: он выдохся, он больше не может ничего объяснять нам, тупым и косным.

А мы все втроём глядим на рисунок.

Лист и правда заштрихован весь — это дождь, наверное, да? — и проступают в нём светлые силуэты. Но каким-то чудом все узнаются: вот Тоторо, толстый, с полосатым брюхом и совиными ушами, шагает впереди. Вот за ним девочка в короткой юбке, голенастая,

на ней смешной плащ и резиновые сапоги. Она ведёт под уздцы пятнистого коня — это же мой Чибис! И откуда только Велька про него знает? А за нами — господи, что это? — за нами следом — вихрь непонятных существ, беленькие, чёрненькие, мохнатые, с ушками, хвостиками, не то мокрые листья, не то пушистые комочки счастья.

И Велька видит их всех?

Но мама с папой не обращают на них внимания. Наверное, думают, это он из мультика срисовал. А может, вообще ничего не думают, а просто не видят, они даже на Чибиса не особо смотрят — они видят нас, его и меня.

Обсуждают наперебой.

— А что, мне нравится...

— ...Такой образ — это очень просто.

— Только, Свет, надо, чтобы плащ не шуршал, иначе конь испугается.

— Да ерунда! Сапоги у нас есть...

— Зонтик тоже.

— Осталось музыку подобрать.

— Ну, музыка...

— Веля, — говорю тихонько, — но в мультике девочка — она Тоторо не сестра. Она ему соседка, подруга.

— Итра! Итра! — говорит он твёрдо, будто старается меня убедить. Даже берёт за руку своей маленькой влажной ладошкой. Смотрит в глаза. — Итра!

А потом вскакивает, прыгает к пианино и начинает шлёпать по клавишам. Путаётся сначала, потом лучше, лучше, подбирает мелодию — и я узнаю тему из мультика «Мой сосед Тоторо». Вот она, бодрая, на-

чальная, под неё шагают лесные японские существа. А потом ускоряется, ускоряется, это уже стремительный бег, топот копыт, а в нём — как проблески, вспышки — это кони прыгают через барьер, понимаю я. А потом всё крутится, даже размер незаметно сменяется, и переходит на другую тему — это ветер таскает по лесу опавшие листья, и Тоторо танцует, кружится под своим зонтиком. И все неведомые лесные существа вокруг него пускаются в пляс.

А я — сестра Тоторо. Не соседка и не подруга. И неважно, что мы не похожи. Главное — я его сестра. Вот кто на самом деле я.

Когда он стихает, мы говорим вместе.

— Круто, Велька, как круто! — Это я.

— Обалденно! — Папа.

— Вообще супер! А-а-а! — Это снова я.

— А для меня сочинишь что-нибудь тоже? — Это папа.

А мама молчит. Смотрит на Вельку большими глазами. Рот прикрыла ладонью.

Велька озирается. Лицо красное. Теперь-то он точно выдохся. Но счастлив.

Нет, не выдохся! Отворачивается обратно к пианино, играет снова, только теперь больше, интересней, полнее. Развивает тему. Придумывает.

— Свет, ну ты что? Чего ты расстраиваешься? Смотри, какой он молодец у нас!

Папа. Подошёл к маме, обнял. Она уткнулась ему в плечо.

— Ага, — долетает до меня. — Ага.

И сжимается вся, совсем маленькая и слабая. И плечи вздрагивают.

Декабрь летит стремительно — как и каждый год. Летит, катится снежным комом с горы, вот-вот расшибётся о дерево — конец года.

Мы с папой готовимся к соревнованиям. Точнее, готовится папа, потому что мне и правда пришлось неделю пропустить — нога болит, я даже до конюшни не могу дойти; подумать о том, чтобы влезть в седло, вообще страшно. Так что папа ходит один.

Готовится и мама — рисует эскизы, покупает ткань, кроит, строчит. Особенно старается с костюмами для нас с Велькой. Потому что с папой всё ясно, походного снаряжения у него столько, что можно не один костюм сварганить, а вот для нас надо всё новое. Даже мне жёлтый плащ пришлось шить, потому что ничего нешурушашего не продаётся.

— Зато будет в чём на следующую осень ходить, — говорит мама. — Мы тебе ещё и швы проклеим, так что нормальный плащ будет.

Кажется, ей уже самой вся эта подготовка нравится.

— Но Вельке-то можно просто пижаму купить, — говорит папа. — Этих тоторо — целый Интернет.

— Ты что! — возмущается мама. — Они же все безразмерные. Будут на нём как мешок. Нет, костюм — это не пижама. Только шить!

В общем, она шьёт. Папа прыгает. А я страдаю.

Потому что Таня на конюшню так и не ходит. Я хоть тоже там неделю не была, но от папы знаю: Таня не ходит, ему теперь коней седлают три девочки, как он говорит: «Большая, поменьше и совсем клопик». Ульяна, Даша и Аглая, понимаю я.

— Они всё про тебя спрашивают, — говорит папа. — Где ты, да что, да когда будешь.

— И что ты отвечаешь?

— Правду: что ты на боевом дежурстве. Не можешь покинуть пост.

Я закатываю глаза. Хотя мне приятно, что они про меня спрашивают. А вот как узнать, что с Таней? Телефона её у меня нет. Спросить у папы, чтобы спросил у Елизаветы Константиновны, — так это придётся объяснять, что случилось, а я совсем не хочу. Страничку в Сети Таня не ведёт. То есть она у неё есть, эта страничка, и я её нашла, конечно, через группу конной школы, но она почти пустая — так, две фотки с прошлого лета, где Таня на велосипеде, и ещё непонятно что на фоне заката — не то волосами махнула в камеру, не то просто размазала снимок. Он у неё и стоит на аватарке. А стена завалена чужими постами, открыточками, какими-то дурацкими картинками, поздравлялками с днюшкой, приглашениями поиграть в игры... Короче, сразу видно, аккаунт заброшен. Может, Таня вообще сто лет здесь не была. Ну и какой смысл писать в личку?

Когда я иду на конюшню после перерыва, у меня внутри прямо всё обмирает. Очень хочется верить, что Таня сегодня придёт. Что просто у неё тоже травма, вот она и не ходила. А сегодня придёт, и всё окажется глупостью. И Анжелин папа никому не звонил. И ложечка — вдруг! — найдётся.

Но Таня не приходит. После тренировки я рассёдываю коня, как могу быстро, и бегу обратно в манеж: уже занимаются старшие, вдруг она там? Но нет.

Ездит Анжела в новом шлеме, на Пинг-Понге. Ездит Наташа на Изумруде.

На котором Таня обычно занималась, ага.

— О, Валя! — Елизавета Константиновна замечает меня. — Кинь-ка нам быстренько брусья на *В* и диагональку на *Х*.

Меня передёргивает. Чтобы я носила брусья для старших! Ладно, для взрослых, когда папа занимается. Но для Анжелы, Наташи и остальных!

— Я на секунду заскочила. Мне домой вообще-то надо, — начинаю отмазываться.

— Валь, мигом. Одна нога тут, другая тоже тут. И пойдёшь, куда тебе надо.

В этот момент как раз прискакивают «хвостики», все три: и Ульяна, и Даша, и Аглая.

— Можно я! Можно мы! — И сыплются на манеж, как горох, втроём хватаются за тяжёлые брусья, тащат, чуть не падая. Кони от них шарахаются.

— Эй, осторожней! — кричит на них Анжела.

А они только смеются. Им нравится помогать.

Ладно, фиг с вами. Не переломлюсь, один раз поставлю. Вылезаю на манеж тоже, тащусь за стойками.

— Ну-ка, мелкотня, разойдись!

Волоку здоровую доску. Стараюсь ни на кого не смотреть. Как говорил папа, никого нельзя обидеть тем, в чём человек сам ничего зазорного не видит. Вон «хвостики», например, ничего зазорного не видят в том, чтобы доски таскать. И Таня не видела. А я, значит, вижу?

— Ездой налево потекли через препятствие, — командует Елизавета Константиновна, когда мы уходим с манежа. — Все, кроме Пинг-Понга.

— Что?! — Анжела. Прямо сейчас из седла от возмущения выскочит.

— Я тебе давно сказала: Пинг-Понг больше не прыгает.

— Но Елизавета Константиновна! Как же старты?!

— Анжела, у нас этот разговор сто раз был, — говорит Елизавета Константиновна строго. — Хватит над стариком измываться. Кавалетти ему — и не больше. Бери любого другого коня и езжай старты.

— Я что, виновата, что на этой сраной конюшне ни одной нормальной лошади нету! — кричит Анжела.

— Заниматься надо лучше! Кто хорошо ездит, на любой поедет, поняла? Конечно, Пинг-Понг вообще самокат — сел и поехал. Всё, тема закрыта. Остальные, покатились.

Хлыст свистит в воздухе — это Анжела со всей дури ошпаривает Пинг-Понга по задю. Она, похоже, даже сама не понимает, зачем это делает, просто от злости. А повод натянула чуть не до груди. Бедный конь присел на задние и пятится.

— Ты за что бьёшь коня?! — Елизавета Константиновна кричит на весь манеж. — Нельзя, слышишь?! Слезай немедленно! Сейчас же!

Но Анжела сама уже, кажется, не рада тому, что сделала. Пытается заставить коня идти вперёд, тянет повод со всей дури, Пинг-Понг пятится, открыв рот, а глаза у него шалые, в них боль и ужас.

— Бросай повод! — кричит Елизавета Константиновна и идёт к ним. Но близко не подходит, видно, понимает, что к Пинг-Понгу лучше сейчас не лезть.

И правильно делает — в этот же момент он вскидывается на дыбы во весь свой немалый рост. Машет

передними ногами в воздухе, и Анжела летит навзничь. А он срывается с места и скачет по манежу, наклонив низко шею, вскидывая задом. Как будто ему не двадцать лет и это молодой конь. Молодой и злой. Лошади от него шарахаются, а он ржёт, прыгает из угла в угол. Совсем ошалел. Я его никогда таким не видела.

— Тихо-тихо-тихо, — приговаривает Елизавета Константиновна и идёт за ним не торопясь. Ждёт, где остановится. Не бежит и не делает резких движений. — Тихо, Пончик. Ну, всё.

На Анжелу даже не смотрит. А та поднялась, отряхивается и кричит со слезами в голосе:

— Я папе сейчас позвоню! Он вашу конюшню за два дня закроет! Он вам!.. Он вам всем покажет!

И уходит с манежа. Плачет. Я замечаю, что она слегка хромает.

— Тихо, Пончик. Всё хорошо. Тихо. — Елизавета Константиновна берёт коня под уздцы. Гладит по шее. Он стоит притихший, только видно, как вздымаются бока. — Что стоим, время идёт! По очереди на препятствие заходим. Валя, поводи!

— Да ничего не будет, не переживай, — успокаивает меня папа по дороге домой. — Никто так просто конюшню не закроет. Перебесится эта ваша Анжела, уже в следующий раз придёт заниматься.

Но в следующий раз она не приходит, а в группе школы появляется странное объявление:

«Дорогие друзья! Приглашаем всех принять участие в нашем субботнике! Накануне соревнований и Нового года надо привести конюшню в порядок. И не забываем, что, несмотря на костюмы, шлемы и краги обя-

зательны для ВСЕХ участников. Костюмы костюмами, а правила безопасности превыше всего».

Писала хозяйка нашего КСК. У неё на аватарке — белая лошадь, и даже в маленьком разрешении легко было узнать на фотке нашу толстую тяжеловозку Маню с красным налобником уздечки. В таком виде она, спокойная и послушная, катает детишек по парку в выходные.

А десятью минутами позже — новый пост от неё:

«И приглашайте всех друзей и родственников на наши весёлые старты! Давайте сделаем праздник для всего района!»

— Хм, — говорит папа, глядя в монитор. — Какая-то подозрительная суета.

— Ты думаешь? — спрашиваю я. — Из-за того, да?

— Не знаю, — пожимает плечами папа. — Надо будет у Лизы спросить.

— А что случилось? — спрашивает мама.

Я оборачиваюсь на неё — сейчас опять пристанет к папе из-за «Лизы». Но она как будто не замечает.

— Да есть тут одна проблемка, — говорит папа и в двух словах описывает всю историю с Анжелой. И с Анжелиным папой тоже.

— То есть ты думаешь, в администрации хотят устроить проверку? — говорит мама.

— Не знаю. Но с чего бы вдруг всё вот это? Причём накануне.

— Ну, может, хозяйка на самом деле хочет сделать большой праздник?

— Может. — Папа опять пожимает плечами. — Но уж слишком похоже на то, что она хочет навести ма-

рафет. Вроде у нас в конюшне всё тип-топ, детская секция, мы нужны району.

— Но ведь всё и правда тип-топ, разве нет? — говорит мама. — И правда нужны району.

— Так-то да. Но ты же знаешь, что ко всему можно придаться. Если захотеть.

А я сижу и молчу. Боюсь напомнить про скандал с ногавками. Который тоже был из-за Анжелы. А если ещё вспомнить про Таню, которую наверняка из-за неё выгнали... То всё становится не так-то уж и тип-топ.

Но папа не один такой проницательный — по конюшне пополз слух, что на соревнования приедут люди из администрации. С проверкой или просто так, непонятно. Конечно, говорили и про Анжелу. Что не бывает дыма без огня. Елизавета Константиновна на вопросы не отвечала, мол, сама ничего не знает, но попросила на субботник все группы прийти.

Поэтому за день до соревнований на конюшне суета. Занятий нет, но все приходят: чистить, драить, украшать манеж ёлочками, бумажными игрушками и мишурой. Папа с Муниром лезут под купол, на самую верхотуру — заменять перегоревшие лампы. Младшая группа моет амуницию, чистит уздечки и стремена. А старшая моет коней.

Меня подключили к ним. Не по группе — по возрасту.

Мойка — это целая комната, выложенная кафелем, в конце большой конюшни. Дверей нет, в стенах — растяжки, чтобы лошадей пристёгивать. Я никогда ещё этого не делала. Оказалось, всё не так сложно, только

делать надо вдвоём: заводишь коня, ставишь, один его трёт щёткой, а второй поливает из шланга.

Когда я прихожу туда, две девчонки как раз домывают Спарту. Она стоит спокойно, ей это даже нравится. Только девчонки ворчат:

— Ведь измажутся за ночь! Завтра чисть их опять.

— Ладно чистить... Сейчас ещё замучимся сушить.

— Блин, правда! Летом вывел на улицу, на солнышке постоял полчаса — и порядок.

— А ты думаешь, чего их зимой никогда не моют? Простынут же.

— Надо было фен из дома взять.

Они выключают воду, берут большие полотенца из флиса и начинают растирать Спарту со всех сторон. Кажется, та от удовольствия жмурится. Но, конечно, высушить лошадь, пусть даже не самую рослую, — это долго.

— Берегись! — вдруг слышу голос и отхожу в сторону.

По проходу идёт Изумруд. Не один, конечно, — с Наташей.

— Вы всё, что ли? Вылазьте! — командует девчонкам.

— Нам ещё сушить.

— Досушите в деннике.

— Но она в другой конюшне, нам её по морозу вести, что ли?

— Ну, досушите здесь. Вон, в проходе ставьте и трите. Мне ждать вас три часа теперь?

Девчонки нехотя отвязывают Спарту, выходят в проход, ставят её там. Начинают тереть. Наташа входит, пристёгивает Изумруда за недоуздок.

— Ты чего здесь? — замечает меня.

— Меня помогать послали.

— Раз послали, так помогай. Шланг бери. Чего стоишь.

Я беру шланг. Меня совсем не радует помогать Наташе. Ничего, успокаиваю себя, это не для неё, это для Изумруда. А потом помою Чибона. А потом Эльбруса для папы...

— Ты смотришь вообще, куда льёшь?

Оказывается, под ноги. Прямо на копыта. Поправляю шланг. Изумруд ужасно грязный. Грязней, чем Спарта. А ещё он серый, на нём виднее, чем на бурой кобыле. Мы его будем до ночи драить. Может, стоило шампунь взять?

— Это каждый год так готовятся к стартам? — спрашиваю Наташу. Неуютно рядом с ней стоять и молчать. Надо что-то говорить. А то совсем неприятно будет.

Хмыкает. Бурчит:

— А чего, коней не надо мыть, что ли?

Я теряюсь. Действительно, надо.

— По-нормальному после каждой трени их моют. Это у нас тут... колхоз.

— А ты что, знаешь, как по-нормальному?

Хмыкает опять. Бурчит что-то непонятное, но шумит вода, я не слышу.

— Чего?

— На хвост не лей, не высушим никогда.

Я поправляю шланг.

— А правда, что говорят, это всё из-за Анжелы?

— Говорят, в Москве кур доят! — фыркает Наташа. Во мне плещется надежда — значит, не закроют?



— Так её папа тут ни при чём, да? — спрашиваю осторожно.

— Чего ты ко мне привязалась? Возьми и спроси её, если так интересно.

— Где же я её возьму? А вы вроде как подруги.

— Ага, подруга нашлась! — хмыкает Наташа и перешедит к морде Изумруда. — Анжеле коня купили, — выплёвывает зло и отрывисто. — На Новый год типа. За пол-ляма. Сдались мы ей теперь с нашим колхозом.

— А-а-а... — тяну я, как будто это всё объясняет. И что ещё сказать, не знаю.

А Наташа трёт шею, чистит грудь коня. Я смотрю, как она это делает: сильно, уверенно, но нежно. И глядит на него как. Видно, что любит.

И чего я её боюсь? Человек, который животных любит, не может быть плохим.

Но у нас ведь все их любят — приходит вдруг в голову. Даже Ульяна. Она просто тогда не в себе была, а как поняла, что её никто дразнить не станет, что она толстая, так и успокоилась. И сейчас нормальная вообще. Хорошо, что хозяйка её не выгнала.

Я, правда, думаю иногда, как она живёт с этим — ну, что она Зину избила? Как занимается на ней? Переживает, наверное. Хотя я вот тоже всю жизнь помню того мальчика из балета, и какой он был мягкий, и как мне приятно было его бить. Помню, стыжусь, но ведь живу как-то. Вот и Ульяна так же.

«А может, спросить у Наташи про Таню? — думаю я. — Может, она что-то знает? И Анжела тоже ни при чём. В смысле папа Анжелы. Ну, в смысле...»

Но я ничего не успеваю. Потому что по коридору вдруг летит богатырский голос:

— Сўшите? Молодцы! Ничего-ничего, скоро мы настоящий солярий построим. Тогда проблем не будет. Вон там.

Слышно, как кто-то идёт по коридору. Тяжело, грузно. Заваливаясь на одну ногу.

— Вот тут у нас мойка. А напротив склад. Надо там сносить всё, ставить лампы под солярий. Чтобы коней сразу помыл, посушил — и порядок. Так что средства нужны.

В проходе появляется большая женщина. Нет, не толстая, а какая-то просто огромная — высокая, крепкая, по-мужски сложенная, с короткой стрижкой. И хромает на одну ногу. Елена Валерьевна, догадываюсь я. Хозяйка. Я не видела её никогда, но больше никто так ходить по конюшне не может. Так по-хозяйски. Конечно, здесь всё её, от лошадей до последнего гвоздя.

На ней ватные лыжные штаны и дутая безрукавка красного цвета. Кажется, она занимает собой всё пространство, если не сама, то своим голосом. И за ней не видно журналистов. Они вдруг выныривают из-за её спины — оператор с большой камерой и девушка с микрофоном. Камера снимает нас, снимает Изумруда, который от командного голоса хозяйки весь подтянулся, как будто готов сняться в галоп.

Микрофон подплывает к лицам.

— Девочки, скажите, вы давно занимаетесь? — К Наташе.

Та хлопает глазами.

— Полгода! — выпаливаю я.

— И вам нравится? — Снова к Наташе.

— Очень! — кричу я, не давая ей опомниться.

— У вас уже хорошо получается?

— Надо работать. И тогда всё получится!

— А как вы считаете, что дают такие занятия подросткам?

Я торможу. Так много — как же про это в двух словах скажешь? Микрофон опять оборачивается к Наташе.

— Ну... — тянет она. — Это же спорт...

— Занятия дают очень много, — перехватываю я инициативу. — Это и общение с животными, и физические тренировки, и здоровое чувство конкуренции, — вспоминаю слова папы.

— Ну и дружба, наверное? — фальшиво-бодрым голосом говорит журналистка и улыбается так, как взрослые всегда, когда перед ними детишки. Протягивает микрофон мне под нос.

— Ну... э...

Но микрофон уже уехал — к Наташе.

— Дружба! — хмыкает она. — Ага. — И ухмыляется неприятно.

Камера щёлкает, микрофон опускается.

— Пойдёмте, я вам теперь наш манеж покажу, — гремит на всю конюшню хозяйка.

Все трое уходят.

Мы переглядываемся с Наташей. И кажется, впервые понимаем друг друга.

Глава 11

Всю ночь я вожусь в постели, но заснуть не могу. Все мысли — о соревновании. Пытаюсь представить, как поеду завтра, как буду прыгать, — и мне кажется,

я уже еду. Вот передо мной барьер, но не маленький, как я собираюсь ехать, а большой, гигантский, ужасно страшный — сто, нет, сто сорок, сто шестьдесят сантиметров! Но мы несёмся на него с Чибисом, и отворачивать некуда, я сжимаю ему бока, я наклоняюсь к шее, Чибис летит как птица, сильным галопом — и взлетает, и я вижу небо, и облака в нём, и...

Просыпаюсь.

В комнате темно. Хочется пить. Сползаю с кровати и иду на кухню. Там горит свет. Родители уже встали, шепчутся. Звенят чашки.

— О, ещё одна! — радуется папа, увидев меня в дверях.

— И что же вам не спится-то? — ворчит мама. — Перед ответственным делом надо обязательно выспаться, а вы оба вскочили ни свет ни заря.

— Сколько времени? — Я зеваю. Сна во мне нет, только какая-то слабость.

— Полшестого, Кроль. — Папа смеётся. — Чайку? Кофейку? Схему заезда?

— Схема?! — Меня как будто бьёт током. — Уже известна схема?

— Да, ночью в группе опубликовали. И стартовые протоколы. Я еду в начале, заезд на восемьдесят сантиметров. Ты в последней группе, на сорок.

— Понятно, пони-класс. — Наливаю себе воду, пью целую кружку и не могу напиться. Внутри всё аж трясётся. Надо сейчас же посмотреть схему, надо выучить её, запомнить, вдруг я её забуду на манеже!

— Народу участвует много, — продолжает папа. — Даже гости будут. Из какого-то другого ка-эс-ка коня везут. Зовут Кавалер.

— Клёво, — киваю. На самом деле мне нет до этого дела. — Папа, где схема?

— Я распечатал. Идём покажу.

И мы идём с ним в комнату и изучаем схему. Шесть препятствий, одиннадцать прыжков, заезд на время. Ужас! Мы обсуждаем её и учим, как лучше ехать, где повернуть, чтобы удобно было коню, но не потерять ни секунды. Потом папа говорит:

— А давай попробуем! — и начинает раскидывать по комнате диванные подушки, вроде как это барьеры, а ещё ставит два стула — это где старт и финиш, их обязательно надо проехать в начале и в конце. — Итак, выходим на старт...

— погоди! — говорю и бегу в ванную, приношу ему швабру, а себе веник. — Как ты поедешь без коней?

Папа кивает. И вот мы уже в седле, мы скачем по комнате, перепрыгиваем через барьеры, поворачиваем, запоминаем маршрут.

— Так не зайдёшь, это слишком крутой поворот! — кричит папа.

— Это ты не зайдёшь, у тебя конь здоровый, а я легко!

Приходит мама, смотрит на нас как на идиотов. Мы топаем, как настоящие кони, и вспотели, как после настоящей тренировки. Сердце колотится.

В дверях появляется Велька, трёт глаза.

— Ну вот, ребёнка разбудили! — Мама всплёскивает руками. — Велемир, сынок, иди ещё поспи, рано совсем.

— Кони! — кричит Велька, показывая на швабру. — Чибон! — Тычет пальцем в веник и смеётся.

Мы думали, что будем первые на конюшне, но, когда приходим, там уже столпотворение.

Манеж открыт. Барьеры стоят, и участники ходят между ними — запоминают маршрут. Как мы с папой по комнате. Но мы и тут начинаем тоже, бредём от барьера к барьеру, считаем про себя.

Сзади бегут Даша с Аглаей за ручку. Прыгают через препятствия, смеются.

— Нельзя! — кричит им Ульяна. — Не прыгайте!

— Почему? — спрашивает Даша.

— Примета плохая.

— Почему? — удивляется Аглая.

— Свалитесь, — говорит Ульяна авторитетно.

— Прыгайте, прыгайте, — смеётся кто-то от входа. Оборачиваюсь — Наташа. — Чем больше вас насыплется, тем меньше конкурентов.

— Станислав! — Елизавета Константиновна на судейском месте, зовёт папу. Он подходит. — Расскажите, как поедете, — долетает до меня.

Папа рассказывает. Показывает куда-то. Елизавета Константиновна кивает, что-то советует, поправляет. Видно, она за него волнуется. Он единственный едет на Эльбрусе. И ей важно, чтобы он проехал хорошо.

Когда мы идём с ним в раздевалку, открываются ворота на территорию конюшни и медленным ходом въезжает коневозка.

— А вот и гости, — говорит папа.

— Астарожна! Не хады! — Перед машиной пятится Мунир. Показывает водителю, куда ехать, разгоняет людей, которых много сейчас толкается тут.

Коневозка медленно продвигается к большой конюшне.

— Ладно, Кроль. — Папа взглядывает на часы. — Я побежал.

И уходит в свою раздевалку, а я остаюсь. Конечно, он едет в первом заезде, ему надо торопиться. А я дождусь, пока мама его загримирует, и пойдём собирать меня и Вельку.

Пока же стою и гляжу на машину. Вот она припарковалась. Выходит водитель, идёт открывать створки кузова. Выпрыгивает из высокой кабины девчонка, примерно моего роста, может, чуть повыше. Светлые волосы, высокий хвост. Заскакивает в кузов и через некоторое время выводит по спущенному трапу вороного коня с белой проточиной на лбу и белыми гольфами. На коне красная попона. Девчонка ведёт его в конюшню, конь шагает неуверенно, высоко поднимая красивые тонкие ноги. Видно, он немного напуган всем, что происходит. Через некоторое время девчонка появляется одна, бежит обратно в машину, выносит седло. Уходит снова.

А я стою, как будто меня водой облили. И не могу сдвинуться с места.

Потому что я узнала коня — это Кирюша, личный конь Елизаветы Константиновны. Которого она сдаёт в аренду для конкуристов.

И я узнала всадницу — это Таня...

— Слава! — Из взрослой раздевалки выглядывает мама, машет мне. — Иди переодеваться.

— У меня другая раздевалка, мам. Мне сюда нельзя.

— Как — нельзя? Что же, нам теперь туда-сюда бегать?

— Мам, но у меня и вещи все там.

Мама недовольно качает головой, но выходит. За ней бежит Велька.

— Идём быстрее, скоро уже всё начнётся! — Ей передалось общее настроение, она тоже нервничает.

— Не скоро ещё, — говорю. — Ещё седлаться. Ещё разминка.

А сама смотрю на створку большой конюшни, где скрылась Таня.

Но она оттуда не выходит.

В раздевалке, как всегда, не протолкнуться — обе комнаты битком, в дальней — моя группа с мамочками и бабушками, мелькают белые колготки, ленты и банты. Все девочки — или снежинки, или феи, или снегурочки. Одна только Ульяна стоит в дверях в большой белой шубе. Красная уже вся, ей жарко. В раздевалке так душно, что запотели окна.

— А ты кто? — спрашиваю я, оглядывая её костюм. — Облачко?

— Я Белый Медведь! — говорит Ульяна с гордостью.

— Здо́рово. Тебе идёт, — хвалю её, и Ульяна расцветает.

Мама быстро теряет надежду протиснуться в детскую комнату, возвращается в первую, где суетится старшая группа. Красятся, шуршат мишурой. Тут больше чёрного: кто ведьма, кто ворона, одна девочка цепляет другой на спину крылья, тоже чёрные — типа падший ангел, ага. Ну и, конечно, шляпы, шарфы, очки — Гарри Поттер и Гермиона. Гермиона расправляет волосы, они у неё правда рыжие. Помогает Гарри

пристроить на плече плюшевую сову, чтобы не болталась. Я узнаю девочек, которые спорили осенью за Золушку.

Переодеваться неудобно. На диване, как всегда, Антон. И девчонки пытаются спрятаться от него, прикрывают друг друга в углу куртками, пока меняют одежду и подтягивают колготки. С ним в обнимку сидит Наташа. Пересмеивается, кричит: «Да не стесняйтесь вы, я ему глаза закрою!» — и правда прикрывает ему ладонью глаза. Он ржёт неприятно и выкручивается: «Чего я там не видел!» Сама Наташа без костюма. Или почти без костюма: те же высокие полосатые гольфы, в которых ходит на тренировку, те же бриджи. Только сверху — безрукавка из дублёнки, мехом наружу. А на голове лихо повязана красная бандана с чёрными черепами.

— Молодой человек, выйдите, пожалуйста, тут девушки переодеваются, — говорит мама, оценив ситуацию в комнате.

Смешки и голоса стихают, все оборачиваются на неё. Я внутренне сжимаюсь: ох, мам... А она глядит на всех серьёзно. Не шутит.

— Он что, мешает? — спрашивает Наташа с вызовом.

— Представь себе, да, — говорит мама.

— Если мешает, идите вон в другую комнату, — тем же наглым тоном продолжает Наташа. — Мелкие вообще-то там переодеваются.

— Он не только нам мешает. И я не понимаю, почему остальные девочки молчат.

И смотрит на них, сжавшихся в углу. Те уже не знают, куда себя деть. И ясно, что она права, и связываться с Наташей никто не хочет.

— Так что, ты выйдешь или мне охрану позвать? — спрашивает мама снова.

— Да что вы вообще пришли и командуете?! — заводится Наташа. — Никуда он не пойдёт!

Но мама её не слушает, она смотрит на Антона и говорит насмешливо:

— Я так понимаю, у молодого человека язык отнялся? Или он привык, что за него женщины всё решают?

Это, конечно, под дых. Антон встаёт с ленцой, как будто делает одолжение. Смотрит на маму высокомерно, но сказать и правда ничего не может. Только морщится и уходит, хлопнув дверью.

— Ой, да подавитесь! — говорит Наташа и выходит тоже.

Во мне всё ликует — я такого от мамы не ожидала. А она кидает мне как ни в чём не бывало:

— Переодевайся быстрее, я Велемиру сделаю макияж, — и вываливает на подоконник гору театрального грима: будет превращать Вельку в настоящего Тоторо.

Мне переодеться — две минуты: поверх конных бриджей — короткая юбка, поверх термобелья — жёлтый плащ. Для этого необязательно было выгонять Антона, мама не для меня старалась. Но остальные девчонки теперь переодеваются спокойно. Правда, никто её не благодарит. Никто в нашу сторону даже не смотрит. «Ну и ладно, — думаю, — ваше дело».

— Блин, — слышу сзади, — я ключ от ящика потеряла.

— Да ладно, не запирай.

— Э, не, я бы сегодня точно закрыла, — третий голос.

— Вообще-то да, чужих много, — говорит та, что только что советовала не запирать.

— Да фиг бы с ними, — опять третья, — там Танюха просто приехала.

— Что?! — Все прямо взвываются. — Да ладно тебе! Танюха?!

— Без палева! Она на большой конюшне седлается. Сама видела.

— На ком?

— Не знаю. Привезла какого-то жеребца.

— Блин, Танюха!.. Точно надо запирать.

Я оборачиваюсь. Смотрю на них. Неужели они в это верят? Все верят, что это Таня была.

Чёрт, но ведь я и сама не знаю, верю ли. Никаких доказательств. Просто... Просто мне очень не хочется, чтобы это было так.

— Ты всё? — спрашивает мама.

Её кисточка быстро-быстро бежит по лицу Вельки — серая морда, кошачьи усы, большой рот... Он сидит серьёзный, улыбаться сейчас нельзя, мордочка поднята в потолок, глаза закрыты. Ещё не в костюме, ещё не совсем зверюшка, но уже не человек. Обратневый ребёнок, как он есть.

— Где твой ящик? Поставь туда мою сумку, чтобы не таскать с собой.

Я послушно убираю в ящик мамину сумку — в ней Велькина одежда, термос с чаем и еда. Ставлю туда же свой рюкзак. Сверху кладу и мамин маленький рюкзачок, в котором всё ценное: деньги, телефон, паспорт, всякое такое. Думаю секунду — и вынимаю. Запираю ящик. Кладу ключ в кармашек маминого рюкзака. Возвращаю ей. Мама поднимает на меня глаза вопросительно.

— Лучше возьми с собой на манеж, — говорю. — У нас тут обычно ценное не оставляют.

Пожимает плечами, продолжает красить Вельку. Она слишком занята сейчас, чтобы вникать. А мне уже стыдно, что я так сделала. Но ведь правда — никаких доказательств.

Мама возится с макияжем долго, и, когда я взглядываю на часы, меня продирает ужас:

— Бежим быстрее! Папа сейчас едет!

Мы несёмся в манеж что есть духу, забегаем, протискиваемся на зрительские места — народу полно, нам достаются только наверху. Оглядываюсь. Манеж красивый, по углам — украшенные мишурой маленькие ёлочки; ветки привязаны и к барьерам, так что они смотрятся празднично; с потолка свисают здоровые бумажные шары. Судьи в углу, за столом, я их не знаю — две женщины и мужчина. Рядом крутятся вчерашние журналисты — та же девушка и оператор с камерой. В центре манежа между барьерами прохаживаются Елизавета Константиновна и хозяйка. Соревнование ещё не началось, только разминка. Для всадников, кто едет маршрут с наибольшей высотой барьера 80 см. То есть для папы.

Всего на манеже шесть коней, на четырёх — взрослые. Едет папа на Эльбрусе. Разминает его на строевой рыси, чуть привставая в седле. Детей двое. Наташа на Изумруде. Едет спокойно, ни на кого не глядя, а только куда-то повыше ушей лошади. И едет Таня на вороном с белыми ногами Кавалере. Конь ужасно красивый, и Таня на нём хорошо смотрится. Только почему-то без костюма — обычные бриджи, синяя

куртка. Та же самая, старая, в которой она всегда ходила на конюшню.

По зрительским местам гуляет шёпот. Все эти воронята, ведьмы и чёрные ангелы не сводят с Тани глаз. Обсуждают коня. Обсуждают саму Таню. И я понимаю, что ужасно рада, что она приехала. Ведь они думали, что избавились от неё. И без неё в соревнованиях будет легко победить. И вот вам, пожалуйста.

Всадники едут галопом. Потом берут для разминки по два раза один и тот же барьер — средний, диагональный.

— Начинаем соревнование! — командует Елена Валерьевна. — На манеже остаётся Изумруд, приготовиться Золушке.

Все выходят. Я успеваю поймать взгляд папы, когда он идёт к дверям, и поднимаю вверх кулак. Всё будет хорошо, па, прорвёмся! Он отвечает мне так же.

— На старт приглашается Наталья Третьякова на лошади по кличке Изумруд. Образ Рони, дочь разбойника.

Я ахаю — разбойница, конечно! Вот откуда черепа и безрукавка из шкуры. Но я не узнала. Мне и в голову не могло прийти, что Наташа эту книжку тоже читала. Почему-то я была уверена, что она вообще не читает книг.

Заиграла музыка — что-то весёлое, я не узнаю, — звенит колокольчик, и Наташа едет. На спокойном, сжатом галопе. Уверенно, без суеты берёт один барьер за другим. Конь послушный. Конь спокойный. Умный Изумруд сам видит, как удобней заходить на препятствие. Идёт, как будто считает про себя.



Проходит маршрут чисто, ничего не сбив.

Звенит колокольчик. Финиш.

— Всадник закончил маршрут без штрафных очков, время: шестьдесят девять целых тридцать две сотых секунды, — объявляют судьи.

— Следующий, — зовёт Елизавета Константиновна в проход манежа, и кони сменяются.

— Это было хорошо? — спрашивает мама.

Видно, что она нервничает. Потирает руки — не то от холода, не то от волнения. Один Велька спокоен, он стоит рядом с креслами и смотрит на манеж; поверх костюма — тёплая куртка, снизу торчит пухлый белый хвостик.

— Хорошо, — киваю я. — Может, только не очень быстро. Но вообще хорошо.

— Костюм у неё не очень, — говорит мама. — Можно было придумать выразительней.

Я пожимаю плечами. Это уж кто как может.

Едут ещё трое. Одна девушка сбивает барьер. У другой лошадь обносит три раза, и её исключают. Доезжает только последняя, она и выглядит красиво: в чёрном балетном костюме, в пачке и перьях на шлеме. Образ — Чёрный Лебедь. Играло, разумеется, «Лебединое озеро».

— А вот её костюм мне понравился, — говорит мама. — Оригинальный.

Саму езду она, кажется, не видит.

Потом на манеж выезжает Таня. И я чувствую, как подтянулись зрительские ряды.

— На старт приглашается Лавриненко Татьяна на лошади по кличке Кавалер. Образ Красная Шапочка.

Пока Елена Валерьевна всё это объявляет, Таня, не выпуская повод, снимает куртку. Под ней оказывается красное платье с кокетливым белым фартучком, она расправляет юбку поверх бриджей. Красную шапочку — крошечный беретик — она прикрепила поверх шлема.

— Начинайте, — командуют судьи.

Звучит сигнал, включается музыка из советского фильма «Про Красную Шапочку» — и Таня едет.

Конь проходит стартовый створ неторопливо и как будто с ленцой идёт на барьер. Первый, второй, третий — пошёл нанизывать препятствия на невидимую нить маршрута. Уверенно и спокойно, но без энтузиазма. Так сказали ему ехать — вот он и едет. Прыжок, поворот. Снова прыжок. Выходит на длинную диагональ.

И тут становится ясно, что он этот барьер не возьмёт. Инерции не хватит. Это увидела даже я, и это, конечно, почувствовала Таня. Она сжала коню бока, но тот уже, похоже, решил, что если никуда не гонят, то можно и не торопиться, и не прибавляет и шагу.

И тогда свистит хлыст.

«А-а, крокодилы, бегемоты, а-а, обезьяны, кашалоты, а-а, и зелёный попугай!» — поёт девочка из фильма, а конь взвизгивает над барьером выше, чем надо, и несётся дальше, раздув ноздри и изогнув голову. Снова хлыст, несильно, но точно — конь взбрыкнул, проходя угол, копыта взметнулись выше стенки манежа, зрители в крайнем ряду ахнули и подались назад, а Кавалер — или Кирюша — уже несётся дальше, проходит подряд сдвоенные барьеры. Прыжок, ещё прыжок — и вырывается на финиш.

«А-а, и зелёный попугай!»

Звенит колокольчик.

— Всадник закончил маршрут без штрафных очков, время — шестьдесят пять целых семьдесят сотых секунды.

— Блин, это лучшее время! — выдыхаю я.

— И что? Что? — Мама так волнуется, что пропускает мой «блин» мимо ушей.

— Ничего. Папе будет непросто.

А он уже выходит на манеж — в старой брезентовой куртке, потёртой и прожжённой у костра, через плечо — бухта верёвки, за спиной — маленький рюкзак, он называется у альпинистов штурмовым, к нему снаружи прицеплена на карабин кружка, а из переднего кармана куртки свисает ложка. На лбу шлема — фонарь, и папа включает его, когда садится в седло. Они с мамой продумали все детали. О, это лучший костюм!

— На старт приглашается Станислав Серебряков на лошади по кличке Эльбрус. Образ — Пробытый Турист.

«Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревёт камнепад», — рычит из колонок Владимир Высоцкий, задавая темп, и Эльбрус легко попадает в него на галопе. Сердце у меня колотится. Барьер! — верёвка и рюкзак на папе взмываются, кружка за спиной гремит, но коню всё равно, он на стартах, он работает. Барьер! Ещё! Эльбрус идёт легко, ему эти восемьдесят сантиметров — что слону дробина. Снова барьер. Пять, считаю я про себя. Шесть. Папа ведёт коня уверенно, точно по той линии, которую наметил в голове. Разгоняясь, проходит длинную диагональ. Без проблем — самый неприятный барьер на короткой стенке манежа.

Семь! Давай, папа, давай! Восемь! Барьер! «Девять! — кажется, уже не про себя, кажется, уже вслух кричу я. — Ну, папа!» Он сжимает коня. Барьер!..

И тут раздаётся странный звук, сухой и неприятный, как будто что-то хрустнуло, так громко, что это слышно даже за музыкой. Десять! Я вижу, как папа морщится. Конь начинает замедляться, теряя скорость — папа его больше не ведёт. Зрители гудят.

— Ну! Папа! Ну! — кричу я.

— Последний! — кричит Елизавета Константиновна.

— Стас! — Это мама.

Папа к нам спиной, я не вижу его лица. Но он сжимает Эльбрусу бока — и конь перелетает последнее препятствие, как все до этого.

— Финиш! — режут зрители.

— Финиш! — кричит Елизавета Константиновна.

Видно, что папа уже расслабился, но конь умный — он сам проходит условленное место.

Звенит колокольчик.

— Всадник закончил маршрут без штрафных очков... — начинают объявлять судьи, как вдруг мама ахает:

— Велемир!

А Велька уже катится через весь манеж, бросается к папе и обнимает его за ноги, вжимаясь головой в живот. Из-под куртки торчит смешной куцый хвостик.

— ...с результатом шестьдесят целых девяносто семь сотых секунды, — заканчивает судья.

Зрители хлопают. Мама порывается протиснуться к выходу, чтобы забрать Вельку, — папа уже идёт к двери, а тот не отцепляется от ноги, так и волочится на ней.

— Я сама, — отодвигаю маму и выпрыгиваю за папой на улицу.

Нам навстречу входит следующая группа участников.

Глава 12

— Пап, это было круто! Это было офигенно! Зачётно! Суперски! Я не знаю как!

— Что, правда? — Глаза ошарашенные, но счастливые. — Ну, я рад, я рад.

— Вель, отпусти папу. Ты мешаешь, ему надо коня поводить.

Тяну его. Тот только сильнее сжимает руки вокруг папиной ноги и верещит.

— Хорошо, Вель, дай ручку, — говорит папа.

— А ты мне дай повод тогда, — говорю я и забираю Эльбруса.

Велька отлипает, берёт папину руку и вдруг прижимается к ней лицом. Звериная усатая мордочка, ужасно серьёзная. Глаза большие. Странно он ведёт себя.

— Что это ты, дружок, расчувствовался? — усмехается папа, но видно, что он тронут. Гладит Вельку по голове.

— Пап, ну, как это было? Ты сильно волновался?

Мы ведём Эльбруса за манеж. Там есть круг, где коней надо водить, чтобы отдохнули после соревнований.

— Да не особо, — пожимает папа плечами. — Я решил: пусть как будет. Не на Олимпийские же игры еду.

— А что это было? Ну, перед последним барьером?

— Слушай, я сам не понял. Мы когда прыгнули, у меня как-то нехорошо пальцы в шею коню вошли. Не успел схватиться за гриву. А у Лёшки привычка такая есть — он сильно назад сдаёт шеей при прыжке. И я вдруг слышу — какой-то щелчок.

— Все слышали.

— Ну вот. И в руке как будто что-то отдалось.

Он отбирает у Вельки ладонь, стягивает перчатку и вдруг морщится от боли.

— Что? — спрашиваю встревоженно.

— Нет-нет, ничего. Всё хорошо. — Папа рассматривает кисть.

Но сумерки, плохо видно. А Велька к нему так и жмётся. И глаза — огромные, совсем уже нечеловеческие глаза.

Что-то мне всё это не нравится. Я вспоминаю, как Велька жался к больному дубу, как жался к уставшему Пончу. Ко мне, когда я с ногой лежала. Что-то мне всё это не нравится.

— Можно, я вас обгону? — вдруг слышу сзади, и мимо нас проходит вороной, которого ведёт Таня.

Оказывается, мы уже вышли на круг, но идём по нему медленно. Правда, там почти никого. Только Наташа и Таня.

Я смотрю Тане вслед. Мне столько всего хочется у неё узнать. Но не сейчас. Не при Наташе.

Вдруг слышится неприятный хруст.

— Пап! Ты чего?!

Он держится за пальцы.

— Всё нормально. Похоже, суставы выбил.

— А дёргать-то зачем?

— Ну, теперь вставил.

— Пап, надо было сначала нормально посмотреть. При свете.

— Не бойсь, Кроль. Я не первый раз.

Качаю головой. А Велька жмётся к нему и жмётся. И мне это не нравится совсем.

— Ладно, — говорю. — Ты иди, отдыхай. Я твоего коня сама расседлаю. Нечего тебе с такой рукой.

Папа не спорит. Идёт рядом, держит за руку Вельку. Рассказывает, как всё было. Наташа, отходяв сколько нужно, уходит с Изумрудом. Остаётся Таня.

«Ладно, — думаю. — Потом поговорю». Ещё будет время. Не сейчас. Не при папе.

Но «потом» так и не наступает.

Когда я прихожу на большую конюшню, ни Тани, ни её коня там нет. Я быстро рассёдлываю Эльбруса. Папа кормит его морковью с левой руки. Правую, больную, Велька всё ещё держит на весу, как величайшую драгоценность.

Потом я несусь в маленькую конюшню, потому что пора седлаться самой. Уже темнеет. Я вижу, что коневозка открыта. В ней, как в уютном домике, горит свет. Наверное, Таня там. Но не буду же я лезть к ней. И некогда.

Я быстро седлаюсь, нам уже пора на манеж. Кладу новый белый вальтрап. Надеваю на Чибиса серые ушки из флиса. Он к ним равнодушен. Он вообще ко всему, кажется, равнодушен. Что сейчас будет. Что ему надо делать. Пытаюсь говорить с ним, чтобы настроить на боевой дух, но он не ве-

дѣт и ухом, только сама начинаю сильней волноваться.

Наконец по конюшне проносится: «Выходим!» — и покают по коридору копыта, маленькие — пони и побольше — Спарты, пони-класс. Мы выходим вслед за ними.

На улице валит снег и становится заметно холоднее.

Когда мы входим в манеж, в первый момент мне кажется, там теплее.

Но только в первый момент.

Когда я сажусь в седло, я как будто из пластмассы. Руки и ноги не гнутся. Живот сжался так, что трудно дышать. Спина как доска. Чибиc трогается шагом, и я качаюсь, того гляди наверхнусь.

Что со мной? Неужели я так сильно замёрзла?

Но нет, это не холод — трогаю ладонью щѣку, всё тёплое. Это волнение. Я так сильно волнуюсь, что тело как будто оцепенело. Надо успокоиться. Закрыть глаза и выдохнуть. Или не закрывать. Найти среди зрителей родителей и Вельку. Кивнуть им.

Но они на меня не смотрят — мама что-то спрашивает у папы, тот отмахивается, усмехаясь. Наверное, о руке.

— Поехали рысью! — командует Елена Валерьевна, и мы трогаемся.

Точнее, все трогаются. А Чибиc идѣт еле-еле — не то шаг, не то рысь. Он становится неповоротливым и толстым. Его сложно сдвинуть с места.

— Валя, соберись, — слышу голос Елизаветы Константиновны, когда проезжаю мимо неѣ.

Да, я пробую собраться. Я всё для этого делаю. Но не могу. Я вообще не понимаю, что со мной происходит.

Закрыть глаза. Вдох-выдох. Хорошо. Живот уже отпустило.

Потом мы едем галопом, и это худший галоп, на который я только способна. Деревянное тело вбивается в спину коня, как свая. Чибис нервничает, крутит хвостом, но едет. «Валя, соберись!» — шепчу самой себе. И интонациями мамы: «А ну, Велеслава!»

А потом мы прыгаем через барьеры. Маленькие, детские, всего сорок сантиметров. Первый — нормально. На втором меня слегка встряхивает. Я падаю на переднюю луку, но держусь. И тут же вспоминаю свой первый конкур. Как навернулась подряд четыре раза. Валя валится, ага... Может, не стоило себя называть так?

— Тренировка окончена. Участникам покинуть манеж. Остаётся Зина. За ней приготовиться Картинке.

Я слезаю с коня, бухаюсь на прямые, совершенно деревянные ноги. Ну и чего я так волнуюсь? В конце концов, не на Спарте еду. Всё должно быть хорошо. Правда, Чибоня?

Накидываю на него попону. Конь равнодушно плетётся за мной.

Мы ходим за манежем по кругу — коням останавливаться нельзя. Темнеет, сыплет снег, но под нами — чёрная, сбитаая ногами и копытами голая земля. Снег падает, мешается с грязью, тает. Манеж светится мягким светом. Слышно, как внутри скачут и что-то кричат, но

здесь всё тихо, и отсюда он похож на ёлочный шар, на большой фонарь. В тёмном зимнем лесу от него веет уютом.

Я успеваю прокрутить в голове схему раз десять, как наконец слышу: «Чибис!» — из открытой двери голосом Елизаветы Константиновны. Ну всё. Пора. Иду.

Точнее, я-то иду, а Чибис вдруг вкопался всеми копытами — и ни с места.

— Чибис, нас уже зовут. Ты слышишь?

Всё он слышит. Но не делает и шага. Стоит и смотрит на меня такими глазами, что ясно — он тут сейчас ляжет и будет лежать. И я не смогу его сдвинуть.

— Ну Чибочка, миленький, ты чего?! — Я чуть не плачу. Тяну его и так и эдак. Слегка шлёпаю хлыстом. Он делает шаг — и снова ни с места.

Навстречу нам выходит из манежа Спарта. Всё, сейчас наш заезд!

— Чибис! Сейчас же идём! Ты что делаешь?! — Я вот-вот зареву.

— Валя! — Елизавета Константиновна выглядывает из манежа. Чёрный силуэт в жёлтой прорехе двери. И никто мне не поможет! Никто — потому что это соревнование, никто не должен тебе помогать. Не вышел на манеж — исключение, и гуляй.

Но тут вижу — катится из света серый пушистый шар. Подкатывается к моим ногам. Берёт за руку мохнатой тёплой лапкой. И ведёт меня за собой.

И я иду за ним как замороженная. И Чибис вдруг послушно шагает следом. Как будто ничего не было.

— На старт приглашается Валентина Серебрякова на лошади по кличке Чибис, — объявляет Елена Валерьевна, когда мы входим. — Образ — Сестра Тоторо.

— Валентина? — слышу удивлённый голос из при тихшего зала — мама, но уже включается музыка, и прямо передо мной раскрывается зелёный зонтик.

Звучит весёлый марш — и мы шагаем друг за другом.

Первым идёт Тоторо, пушистый, толстенький, полосатый, не то котик, не то совёныш. Белый куцый хвостик подрагивает на попе. Ушки на голове качаются при каждом шаге. Над ним зелёный зонтик, так что нам не страшен никакой дождь. Он поднимает вверх усатую мордочку, он выглядывает из-под зонтика, оборачивается на меня и дирижирует лапками музыке, наполняющей манеж. Молчаливый, добрый, он такой, какой всегда, мой маленький брат.

Следом шагаю я, в сапогах и жёлтом плаще, голенастая, высокая не по возрасту. Не Пеппи Длинныйчулок, не Рони, дочь разбойника, и даже не Алиса Кира Булычёва. Велеслава-не-царевна, Кролик, Славка — это всё я.

В поводу идёт Чибис. Но так бодро, что кажется мне, отпусти я его сейчас — он всё равно будет за нами шагать. Не за мной — за ним, Тоторо, духом леса.

А следом вихрем, ветром, кружением — сонм непонятных существ, их не видно, но слышно — вот они, звенят в этой музыке, блестят в ней высокими нотами, чистыми аккордами. И смеются, смеются, летя за нами.



Велька проводит нас по кругу и оставляет в центре. Я сажусь в седло, а он укатывается вместе со своим зонтиком и всеми существами.

Я остаюсь одна.

— Начинайте, — слышится от столика судей.

Звенит колокольчик — и музыка сменяется.

Ноты летят, цепляясь одна за другую, сплетают лёгкую мелодию, и Чибис скачет. Не как Эльбрус, конечно. И не как Кавалер. Он скачет рысью, но, по мне, и это уже неплохо. Прыгаем первый барьер. Вписываемся в поворот. Второй. Третий.

Четыре. Пять. Шесть.

Выходим на длинную диагональ. Сжимаю Чибиса — если не разгонится, он не прыгнет. Таня тут как раз и шлёпнула своего Кирюшу. Эх, и мне бы так же!..

Но не успеваю ничего сделать — Чибис уже добегает до барьера и неуклюже, почти с места переваливается через него.

Слышу грохот сзади, перекрывает даже музыку. Сбили. Минус баллы. Но надо дальше.

Остальное едем без приключений. Даже сдвоенный барьер Чибис перепрыгнул, как будто так и надо.

Проезжаем финиш. Звенит колокольчик.

— Валентина Серебрякова закончила маршрут, имея штрафные очки... — бесстрастно объявляет судья, но его, кажется, никто не слушает.

Потому что музыка сменяется вальсом, и Тоторо с зелёным зонтиком вылетает на манеж, крутится, крутится — и весь весёлый сонм за ним следом. Мохнатая лапка берёт меня за руку, усатая мордочка, серьёзная, но счастливая, мелькает вокруг.

И так мы уходим.

Ворох аплодисментов сыплется нам в спину.

На улице меня накрывает.

— Велька! Милый! Спасибо-спасибо-спасибо! Чибочка! Какой ты молодец! Ура!

Мне хочется прыгать и кричать. Потому что у меня всё это было — первые старты, это волнение, эта музыка и барьеры. И будет теперь со мной всегда. Я прямо так и чувствую — всё это останется со мной навсегда: эта ночь перед Новым годом, и снег в чёрном лесу, и чёрно-белый Чибис, почти невидимый в этом снегу, и Велька с усами, мохнатый и уютный, такой понятный и свой.

— Велечка, спасибо, без тебя бы...

Но он не даёт мне закончить. Вижу, как в глазах счастье сменяется тревогой.

— Па... — и убегает обратно в манеж.

— Ну как? — Меня окружают, прыгают вокруг Снежинка, Фея и неуклюжий Белый Медведь — Аглая, Даша и Ульяна.

— Круто! — выдыхаю. Я сейчас такая счастливая, что готова их всех обнять. — То есть проехала я плохо, сбила барьер. Но всё равно — это круто!

— Ура! — пищат все трое. Кажется, они меня понимают.

— Это ничего, это всегда так в первый раз, — говорит Даша.

— Я вообще в первый раз из седла упала! — говорит Аглая, а сама светится, как будто это достижение.

— Можно, я повожу? — спрашивает Ульяна и смело тянется к поводу.

— Да я сама, — говорю.

— Я сейчас на нём еду тоже. В следующем заезде. Тупится. Боится поднять глаза. Боится меня. Но я такая счастливая сейчас! Разве меня можно бояться?

— Конечно, конечно.

Обнимаю Чибиса за шею. Прижимаюсь к пятнышкам, вдыхаю тёплый запах. Передаю Ульяне повод и бегу обратно в манеж.

— Удачи! — кричу своим «хвостикам».

Последний заезд — совсем детский. Прыгают девочки на пони, Чибис — самый высокий среди них. Прыгают не очень хорошо. Даша опять падает. Аглая не справляется с пони, та носится кругами, но не заходит на барьер, и её снимают с соревнования. До конца доехала только Ульяна, хоть и медленно ужасно, но я рада за неё — она не упала. А что не победит — ну так с кем не бывает. Я вот тоже не победю... не побегу. Я уже поняла это и даже успела успокоиться.

Но когда заезд заканчивается и Елена Валерьевна кричит: «Зовите всех! Сейчас судьи считают, и будет награждение!» — во мне вдруг всё охает. Сердце снова начинает бешено колотиться. «Тише, — говорю себе, — чего так волнуешься? Тебе ничего не достанется».

Но папе! Папе должно!

— Участники соревнования приглашаются для награждения в пешем строю! — объявляет официально судья, и зрительские кресла резко пустеют — всех выносит на манеж. Выстраиваются в шеренгу.

— Папа, папа, идём!

Меня охватывает нервозность. Я вскакиваю сама и тяну за собой папу. За нами поднимается Велька. Всё

это время он не отпускал папину руку, держал в обеих своих ладошках. Не позволял никому даже смотреть. Точнее, не позволял он маме, я-то и не просила, я уже забыла об этом и вспоминаю только сейчас, когда замечаю Вельку. Он всё ещё в костюме. Папа тоже. На мне куртка, и я чувствую, как она мне ужасно мешает — я тоже хочу быть в костюме, как они все.

Резко стягиваю её с себя, кидаю маме:

— Подержи!

Мама поднимает на меня холодные глаза. Ужасно холодные и чужие. Меня как будто ошпаривает этим взглядом — я знаю, она так может глядеть, только если очень, очень злится. Если она в бешенстве. Тогда она не ругается, а молчит, и это самое страшное, что может быть.

Она и сейчас ничего не говорит, молча забирает у меня куртку, кладёт её рядом, на свободное кресло, и отворачивается. Больше на меня не смотрит.

Во мне всё сжимается. Только сейчас понимаю, что за всё время, пока был последний заезд, мама не сказала мне ни слова. Она злится на меня. Но я ума не приложу за что.

И некогда это делать. Потому что на манеже объявляют первых победителей и мне надо бежать туда.

— Третье место в заезде на высоту сорок сантиметров получает Барышникова Ульяна! — объявляет Елена Валерьевна, пока я протискиваюсь к папе. Становлюсь по левую руку. Потому что Велька стоит справа.

Вокруг хлопают, а у меня челюсть отвисает: это же наша Ульяна! Она получила третье место, на Чибисе! Вот это да! Ульяна — Белый Медведь идёт за своей

медалькой. Стоит довольная, покрасневшаяся. Оператор с камерой снимает её в упор.

Объявляют второе и первое места. Все победители залезают на кубики с номерами I—II—III, их снимают для телевидения. Я хлопаю с остальными, но внутри свербит: Ульяна получила третье место на Чибисе. А если бы я не сбила барьер, могла бы тоже его получить, я ехала быстрее. Или даже второе место, кто знает. Но нет, не думать. Радоваться, нельзя завидовать — в этом предложении есть только одно правильное место для запятой.

Также объявляют победителей заезда на шестьдесят см. Я хлопаю, но мне всё равно — я никого из них не знаю, это даже не наша секция, у них другой тренер. Я жду папин заезд — на восемьдесят см.

— Итак, наибольшая высота препятствия, — говорит наконец Елена Валерьевна. — Третье место получает... Болотина Александра!

Выходит девушка в костюме Чёрного Лебедя. О, а я-то думала, она была во взрослом заезде, так она смотрится — высокая, тонкая, красивая. Не выходит — вылетает на пуантах. Ей аплодируют. Девушке вручают грамоту и медаль, она отходит под дуло камеры.

Ладно, не жалко. Третье место не очень-то и хотелось.

— Второе место — Наталья Третьякова!

Вокруг хлопают, кто-то даже радостно свистит. Но я смотрю на Наташу — лицо злое. Нет, она недовольна. Она хотела другого. Подходит, берёт медаль и грамоту. Становится на второй кубик. Ждёт. Кто же первый?

— Наконец, первое место занимает наш неожиданный гость, Лавриненко Татьяна! — объявляет Елена Валерьевна, и я вижу, как Таня выходит из заднего ряда. Стояла там, чтобы её никто не заметил. Чтобы все о ней забыли. А сейчас уверенно идёт к судьям. Получает медаль и кубок. Она победитель. Её выгнали, но она пришла и всем доказала, что она всё равно лучше. Лучше их всех.

И становится на пьедестал. Их снимают, а я смотрю на лицо Наташи. Радоваться нельзя, завидовать. Нет, это неправильное место для запятой, Наташа. Со всем неправильное. И неужели у меня сейчас такое же лицо, как у неё?

Потому что там не папа, на этом высоком кубике с цифрой I. Но почему, почему не он?!

— Однако у нас есть ещё одна номинация! — говорит вдруг Елена Валерьевна. — Это номинация для всадников-любителей в заезде на высоту восемьдесят сантиметров.

Во мне всё ахает — вот оно! А Елена Валерьевна продолжает:

— В этой категории участвовали три человека, но один всадник был исключён из соревнований, поэтому присуждается два призовых места. Итак, второе место — Вороненко Лидия! И первое место — Серебряков Станислав!

Я кричу. Я визжу. Я хлопаю в ладоши и скандирую: — Ста-ни-слав! Ста-ни-слав!

А папа выходит к судьям, слегка наклоняется, чтобы повесили ему медаль, берёт кубок...

...и тот вдруг падает к его ногам, катится по грунту манежа!

Велька кидается, поднимает. Папа стоит, и лицо у него такое, будто он терпит боль. Не показывает, но я-то его знаю. Он берёт кубок снова — в левую, и становится на пьедестал, и его тоже снимают и фотографируют. Прямо как есть Пробитый Турист, с верёвками и ложкой в переднем кармане брезентовой, пропахшей кострами куртки.

Мне всё это не нравится. Вообще не нравится. И его лицо. И то, что кубок он не удержал. И то, что Велька от него не отходит.

— Но и это ещё не всё! — говорит Елена Валерьевна. — У нас есть спецприз! За лучший костюм. И его получает... Серебрякова Валентина за образ Сестра Тоторо!

Вокруг хлопают, а я не сразу понимаю — что это? Почему все на меня смотрят? Почему Велька метнулся ко мне и тянет мохнатой лапкой? Я думаю только о папе, что с ним...

Велька вытягивает меня к судьям. Они глядят покровительственно, сверху вниз, улыбаются. Дают грамоту. А откуда-то сбоку подходит Мунир.

— Спецприз у нас самый что ни на есть новогодний. И он предоставлен администрацией района. Вот эта пушистая красавица!

Я только сейчас замечаю, что Мунир тащит ёлку. Большую, чуть ли не с меня ростом. Завёрнутую в белую сетку.

И только тут понимаю, что это мне.

— О, красота какой! — говорит Мунир и толкает ёлку на меня.

Она почти падает, но я ловлю и сразу тону в её душистом запахе. Лес, Новый год. Ёлка. У нас сто лет

не было живой ёлки, легче сказать — не было никогда. Мама не покупает, говорит: неэкологично. Мы искусственную наряжаем.

— Победители, круг почёта ездой направо галопом — марш! — командует Елена Валерьевна, и все срываются, бегут по манежу вприпрыжку, размахивают кубками, медалями. С них сыплется мишура и бумажные цветы, дрожат крылья из тюля, развеваются ленты, шарфы, шляпки — весёлый, неистовый карнавальный хоровод.

Не бегут только взрослые. Возле них журналисты, хозяйка, Елизавета Константиновна, друзья и знакомые. Поздравляют, что-то говорят. Журналистка задаёт вопросы.

А я торчу, как дура, с ёлкой. Она такая большая, что мне просто не сдвинуться с места. Хотя я хочу сейчас быть возле папы. Вижу, как к нему протискивается мама. И я хочу быть там.

Как раз дошла его очередь говорить в микрофон.

— Станислав, как давно вы занимаетесь? — тянется к нему журналистка.

— Полгода.

— Полгода — и такие успехи! Что для вас конный спорт?

— Адреналин.

Сейчас спросит ещё про дружбу, и я её прибую.

Но она спрашивает другое:

— А что вас подвигло прийти заниматься в этот клуб?

— Моя дочь, — говорит папа.

— И я хочу заметить, — перетягивает на себя микрофон Елена Валерьевна, — что взрослая группа пока

небольшая, но очень перспективная, и в будущем можно ожидать больших успехов...

Мама наконец выныривает оттуда вместе с папой и Велькой. Велька держит кубок.

— Станислав, поздравляю! — рядом оказывается Елизавета Константиновна.

— Света, познакомься, — говорит папа, — это наш тренер. Без неё ничего бы не было.

— Лиза, — говорит та и пожимает маме руку.

А мама ей что-то отвечает. И пока они обмениваются любезностями, я смотрю на папину правую кисть, которую он старается держать поближе к себе.

Она большая. Не просто большая — огромная, болезненно раздувшаяся. И цвет нездоровый. Так, чему нас там учили: отёк тканей. Потеря работоспособности конечности. Боли может не быть, потому что шок. Всё понятно...

Папа говорит что-то Елизавете Константиновне, а я тяну маму к себе. Она скользит по мне холодным взглядом — всё ещё злится, но мне сейчас некогда выяснять за что.

— Мам, это важно. Очень.

Делает над собой усилие. Подходит.

— У папы перелом. Кисть.

Смотрит на меня:

— Ты уверена?

Киваю:

— Мы это проходили.

— Хорошо. — Она совсем не удивляется. Кажется, уже подозревала сама. — Я вызываю такси. Едем в травмпункт.

— Прямо сейчас?

— Нет, завтра!

— А ёлка? Её бы домой.

— Оставь здесь. Или отдай вон кому-нибудь. — Поводит рассеянно головой, показывая на бегающих девчонок.

Они всё ещё бесятся, прыгают через барьеры, кричат. Счастливые, победители.

А я не с ними. Я стою, как дура, с ёлкой, и во мне всё сжимается. Оставить? Но как это можно — оставить?! Ведь это подарок! Единственный, который я получила! И я, и Велька.

Но маме пофиг. Ей нет! До меня! Дела!..

Она уже обо мне забыла. И обо мне, и о ёлке. Роемся в сумочке, достаёт мобильный. А меня накрывает злостью. Сейчас начну драться. Сейчас я кого-нибудь прибую!

Толкаю от себя ёлку — с ненавистью, зло, — срываюсь и несусь. О, как я всё ненавижу! Возьму и сбегу, прямо сейчас, куда угодно — в парк, в лес, на Алтай к дяде Паше, к чёрту! Не могу больше так! Просто не могу!

Но добегаю я только до раздевалки. Распахиваю дверь — и застываю на пороге.

В раздевалке Антон. Он стоит спиной ко мне, возле ящиков. Один из них открыт, и он роется там, перебирает вещи.

Слышит меня. Оборачивается. И я вижу его глаза. Ровно секунда — а потом резко выскакиваю за дверь, захлопываю и наваливаюсь на неё всем телом.

Сердце колотится. В голове чехарда. Мысли прыгают, и стучит в висках одно: «Что делать? Что делать? Что теперь делать?»

Потому что это был мой ящик. Из него торчали мои вещи. А я точно, сто процентов помню, что заперала его.

Господи, вот в чём дело! И не Таня, конечно, не Таня! Но что теперь делать?!

— Ты думаешь вообще хоть немного? Забыла, что ключ у меня?

Из темноты выходит мама. Решительная, по-прежнему злая. Но как же вовремя!

— Мам! погоди! Туда нельзя! Там!..

— Так, хватит придуриваться, надоело! Быстро забираем вещи и едем, такси через пять минут у ворот.

И она распахивает дверь.

Я вваливаюсь за ней следом — в раздевалке никого. Дверца моего ящика открыта.

— Слав, это ещё что такое?

Мама достаёт сумки, пакеты, мельком оглядывает — всё ли на месте. А я бегу в другую комнату — никого, в туалет — закрыто. Дёргаю, дёргаю.

— Он там! Мам!

И тут меня как ударяет — окно! Конечно, он тоже о нём знает, не я одна слышала, как Таня рассказывала, как через него вылезала.

И несусь со всех ног наружу, огибаю угол раздевалки, там стена вплотную к забору, окно смотрит прямо в кусты, свет выхватывает голые жёсткие ветки, остатки мокрых листьев — и снег, снег.

Окно открыто. В туалете конечно же никого.

— Слав! — Папа. Стоит у соседнего входа в раздевалку для взрослых.

— Пап! — Прорываюсь через кусты и вываливаюсь прямо на него. — Пап, ты никого не видел?

— Нет. Пошли быстрее, машина ждёт.

Киваю. Да, конечно. Пошли. Оборачиваюсь ещё раз, так, на всякий случай, — жёлтые фонари освещают асфальт у себя под ногами; конюшни, амбары, сараи — всё теряется в темноте. Люди уже возвращаются из манежа: шум, смех. Идут в раздевалки. Идут на конюшни фотаться с любимыми кониками. Бродят по территории тёмные силуэты. Пойди тут теперь кого-нибудь найди.

Глава 13

Наверное, мы выглядим очень занятно, когда вываливаемся все вчетвером из тёмного парка на автостоянку рядом с воротами — папа-турист, Велька-зверёк и я непонятно в чём, в руках пакеты, сумки. Велька бережно несёт папин жёлтый кубок. И только мама нормальная — в пальто в стиле бохо, в длинной юбке и сапогах, похожая на Мэри Поппинс. Водитель так и крикает, когда вылезает из машины, чтобы открыть нам дверь. Долго всматривается в салонное зеркальце, особенно разглядывая Велькину усатую мордочку.

— С праздника? — спрашивает наконец, усмехаясь. Ему хочется поговорить.

— Можно так сказать, — говорит мама коротко, и голос у неё такой, что водителю говорить больше не хочется.

Настроение у нас совсем не праздничное — едем молча, нахохлившись, и чувствуется, что все хотели бы друг другу что-то сказать, но не сейчас, не в машине. Пока бежали до ворот, папа всё говорил, что нет при-

чины так спешить, и можно бы поехать завтра, и можно хотя бы отвести детей домой. Но мама не слушала, неслась, как торпеда, подцепив Вельку на буксир. И теперь все примолкли. Мама села впереди — решительная, командует, куда ехать. Мы втроем сзади. Папа откинулся на сиденье — видно, устал, а может, и рука уже болит. А у меня в голове стучит одно: «Что теперь делать?» Теперь, когда я всё знаю, — что с этим знанием делать? И только Велька сидит между нами спокойный, как всегда, смотрит на чёрную мокрую дорогу прозрачными глазами. В руках его кубок — как волшебный Грааль.

Нас высаживают у ворот районной больницы, и мы долго ещё плуаем между корпусами, одинаковыми, тёмными. Терпеть не могу больницы, да и никто их не любит, конечно. Все становятся совсем притихшие, одна мама не теряет решительности, тащит на буксире нас всех, от одного здания к другому.

Наконец находим нужное. Над дверью написано: «Дежурный травматологический пункт № 1», лестница ведёт в подвал. В нос ударяет ужасный запах — хлорка, лекарства? Но мне кажется — кровь. В коридоре несколько кресел — деревянных, дурацких, скрипучих. Над обитой коричневым дерматином дверью горит зелёная надпись: «Не входить». Напротив неё — толстая тётка с гипсовой ногой, в кресле-коляске, её привёз такой же толстый, какой-то весь скособоченный мужик. Рядом — два неприятных типа, вроде не старые, но какие-то потёртые, у одного физиономия в крови, другой держит на весу руку, а кисть болтается. Они кажутся пьяными, но тихо сидят, глядя в пол, и ни на кого не смотрят.

Мама занимает очередь за одним из них.

— Мне только заверить, — повторяет тётка в кресле, потрясая какими-то бумажками. Видно, очередь она не занимала и не будет.

Мы отходим подальше, в конец коридора, где есть четыре свободных кресла. Я сажусь, папа отказывается. Велька забирается со мной рядом на соседнее место. Мама расстёгивает на нём куртку.

— Я же говорил, что это плохая идея — тащить с собой детей, — цедит папа сквозь сжатые зубы. Озирается нервно на пьяных. — Кто здесь может быть накануне Нового года, подумай!

— Вель, давай снимем, жарко? — Мама пытается растянуть на Вельке костюм.

Тот мотает головой и пищит. Хватается за молнию, не пуская. Усатый, пушистый, с жёлтым кубком в мохнатых лапах, он так разительно выбивается из всего этого мрачного, удручающего, что мама сдаётся. Мама выпрямляется, смотрит на папу:

— Это жизнь, Стас. Пусть знают.

И больше они ничего друг другу не говорят. Открывается дверь, оттуда выходит сначала медсестра, потом парень на костылях. У него нога до колена в гипсе. Прыгает к двери. Тётка на кресле машет бумажками, твердит, что ей только заверить, и мужик толкает её в открывшуюся дверь. Медсестра начинает с ней препираться. Оба пьяных мрачно сидят, не поднимая глаз. Им всё равно. Наконец медсестра уводит того, у которого разбито лицо, в кабинет, но тётка вкатывается за ней тоже. Потом мужик выходит — крови на нём уже нет, он держит на носу компресс, ему приходится запрокидывать голову и коситься себе под ноги. Уходит

на второй этаж. Потом выходит медсестра и куда-то бежит. Потом выкатывается тётка и тоже куда-то уезжает. Возвращается медсестра... Возвращается мужик... Время идёт. Папа с мамой не глядят друг на друга. А у меня в голове стучит: «Ты, наверное, хочешь быть врачом?» — голосом Тани. Так вот сиди и гляди, как это на самом деле бывает. Сиди и гляди.

Наконец надпись «Не входить» три раза мигает, и папа идёт в кабинет — он остался в очереди один. Коридор пустеет. Мама снимает с крайнего кресла наши сумки и опускается в него. Видно, как она устала. Всё это время стояла только из-за папы. Потому что он не хотел сидеть.

Велька тут же кладёт ей голову на колени. Закрывает глаза. Тоторо спит.

И тут я со всей силой ощущаю, что мама на меня по-прежнему злится. Это невыносимо. Это давит на меня хуже, чем больничный запах. Хуже, чем вся эта атмосфера. Я чувствую, как она отключается от меня, отстраняется. Делает вид, что меня не существует. Что я даже не на Алтай к дяде Паше уехала, а меня вообще никогда не было. И меня это изводит.

— Мам. — Два слова. Нужно всего лишь два слова. Но как же сложно их произнести!

Закрываю глаза.

— Прости. Меня.

Фыркает. Открываю глаза. Смотрит неприятно:

— За что же я тебя должна простить... Валентина. Или как там тебя?

О, блин!..

— Мам, ну, я... это просто... мам, ну как тебе объяснить?

— Ты уж как-нибудь напрягись. Как в вашем балагане участвовать, костюмы вам по ночам шить — так мамочка-пожалуйста. А как ничего от меня не надо, так все сами с усами. Конечно, я же не знаю, чего ты хочешь, я совсем тебя не понимаю. А теперь, как выясняется, я даже не знаю, как тебя зовут и кто ты.

— Мам, но я... Чёрт!.. — У меня перехватывает горло. Вдыхаю, а сказать ничего не могу.

А она продолжает, тем же тоном — давит, давит и давит, как будто хочет меня совсем в землю вбить:

— Отец молодец, конечно. Я понимаю, это он тебе разрешил. Всё ему игры везде мерещатся. Всё ты у него маленькая: вырастет — разберётся. Но идея-то твоя, разумеется. Бегаешь от матери, думаешь, я ненормальная какая-то. Хочешь быть как все. Неужели ты до сих пор не понимаешь, что ценят только индивидуальность?! Как все — это никак, кому это нужно?! Надо понимать себя, чем ты отличаешься от других, что в тебе есть сильного, хорошего, — и тогда люди тоже тебя оценят и полюбят.

Я реву. Ничего не отвечаю, уткнулась лицом в колени, закусила ладонь, чтобы не скулить, и беззвучно реву, только вдыхаю — воздуха не хватает. Каждое слово режет меня, жестоко и больно. И я ничего, вообще ничего сделать с собой не могу.

— Ну и что теперь? И кому эти слёзы твои нужны? Вот, воду гоняешь, — ворчит мама, лезет в свой рюкзачок. — На, утрись. И выпей. Пей, пей. Ну, прошло?

Суёт мне пачку бумажных платков и термос с чаем. Пью, он остыл уже. Икаю. Сморкаюсь. Опять икаю. Сейчас папа за дверью услышит и всё поймёт. Нет,

надо успокоиться. Надо взять себя в руки. Не хватало ещё расстраивать папу.

— Но я не могу так, ты понимаешь? — прорывается из меня, хотя я совсем ничего не хочу говорить. — Не могу одна. У меня... совсем... нет друзей! И я... совсем... себя... не зна-а-ю!

И снова в рёв. Опять утыкаюсь себе в колени. Сжимаюсь, как от боли. Чувствую, как кто-то гладит меня по спине.

— Ну, тихо, тихо. С кем не бывает.

— Да, бывает. Но я так не могу! Я не нужна никому! Я ничего из себя не представляю. Со мной хотят только мелкие дружить.

— И что, мелкие — не люди, что ли? Это же хорошо, если тебя дети любят.

— Но мне-то они не нужны, как ты не понимаешь! Мне с ними скучно!

— И что теперь? Это повод, чтобы менять имя?

— Повод! Потому что надо мной все смеются. Всегда!

— Да кто над тобой смеётся? Они же удивляются. Это ты, кажется, не понимаешь.

— Да, не понимаю! И в людях не разбираюсь! Кто плохой, кто хороший! Кому доверять можно. Я запуталась совсем! Сначала кажется одно, потом другое, а на самом деле...

— Слав, ну ты уже не маленький ребёнок. Ты должна понимать, что не бывает плохих и хороших. Люди сложные. В каждом столько всего намешано...

И тут меня как выключают. Поднимаю голову — и сталкиваюсь глазами с Велькой. Это он, оказывается, гладит меня мягкой лапой. И смотрит серьёзно. Очень.

— Правда... — судорожно вздыхаю. — Намешано. В каждом. Всего.

И начинаю рассказывать. Всё, с самого начала. И про Ульяну. И про Анжелу и Наташу. И про Таню. Про ногавки и про ложечку. Даже про ложечку! А потом про Антона. И что сегодня видела его. А значит, всё понятно, пазл сложился и оказался простым. Неприятным, но от этого уже никуда не деться. И ясно всё: и кто таскал в раздевалке вещи, и кто подкинул их Тане. И даже зачем это было нужно — ведь Наташа занимается теперь на Изумруде, и если бы не Таня, то, конечно, победила бы сегодня она.

Заканчиваю — и замолкаю. Смотрю изумлённо. Я никогда не могла бы представить, что расскажу это всё маме. Папе — да, но маме! Которая всегда всё додумывает, которая строго судит людей и выдаёт своё мнение как единственно верное. Я давно зареклась ей что-либо говорить и вот — выложила как на духу.

И становится легче. На удивление легче. Только одна мысль всё ещё свербит.

— Мам, ну так что мне теперь делать-то?

— С этим парнем? Сейчас уже поздно, но завтра позвонишь хозяйке. Всё расскажешь. Пусть принимает меры.

И всё. И больше ничего. Не начинает меня учить, как жить. Не говорит, какие все плохие. Я выдыхаю — неужели это возможно? Велька тихонько гладит меня по руке.

— Мам, как считаешь, а Наташа, получается, всё знала?

Пожимает плечами:

— Похоже. Сложно, конечно, сказать наверняка. Но очень похоже.

Я вздыхаю. Это неприятно. Рони, дочь разбойника... Ох, до чего же неприятно!

— Мам, а ложка?

— Что — ложка?

— Ну, если Таня ни при чём... — Я замолкаю. Я боюсь продолжить и боюсь услышать, что сейчас скажет мама. Потому что вдруг это не связано. И вдруг ложка — это правда Таня...

— Вещи теряются иногда, Слав. — Она снова пожимает плечами. — К сожалению, это их свойство.

А потом приходит папа. Я быстро вытираю глаза и улыбаюсь, как будто ничего не происходило. Прячу ладонь, где на тыльной стороне — красный круг от моих зубов. Папа выглядит уставшим, на правой кисти — гипс, в левой руке — чёрный лист рентгеновского снимка. Белые кости на нём кажутся тонкими и хрупкими. Перелом отчётливо виден: две косточки, безымянного и среднего пальца, сломаны и смещены по косой.

— Врач решил, что я тоже как эти... — Папа усмехается и кивает куда-то вдаль по пустому коридору. — Неудачно подрался.

— Ну, слава богу, что всё кончилось, — говорит мама.

— Да уж, мне же не на скрипке играть, — говорит папа и подмигивает мне. — Через месяц буду опять в седле.

Мы берём вещи и выходим на улицу.

Там свежий воздух и холодно. Но после больницы — свободно и хорошо. Мама собирается вызвать такси, но

папа говорит, чтобы она брала нас с Велькой и ехала одна, а он устал и хочет пройтись.

— В чём логика? — удивляется мама. — Если ты устал, надо быстрее домой.

— Голова болит, — отвечает папа. — Надо проветрить.

И тогда мы все понимаем, что нам надо проветрить голову, даже если она не болит. И нам всем надо пройтись.

Так мы и идём — странная компания, вроде и с праздника, но из больницы. Папа, похожий на уставшего туриста. Мама, серьёзная, но спокойная, так как всё позади. Я в жёлтом плаще поверх тёплой куртки. И Велька — маленький непонятный зверь.

Больница от дома далеко, уже ночь, и на улице пусто. Машины почти не ездят. Не светятся окна. Не работают магазины. Только горят фонари. Мы шагаем молча. Потому что иногда, чтобы понимать друг друга, необязательно что-то говорить.

Эпилог

— Подростки — это беда. Я двадцать лет с ними работаю, такого насмотрелась, мама дорогая!

Голос Елены Валерьевны гремит в тренерской. Она ходит вокруг стола, который стоит в центре, а мы с папой зажались у двери. Я потихоньку осматриваюсь, я ещё ни разу тут не была — все стены увешаны поздравительными рамками, фотографиями с соревнований, цветными розетками и гирляндами медалей. На полке — кубки всех возможных размеров. На столе — статуэтки коней. Над дверью — подкова и маленькая

лошадка из соломы. С красным седлом из тряпочки. Наверное, кто-то из детей сделал.

— Я всё записала, — продолжает она. — Муниру передам. Больше — чтобы ни ногой. Будем следить. И у всех ящиков поменяем замки. Сразу после Нового года. Спасибо вам!

Хочет пожать папе руку. Он подаёт левую, пряча гипс.

— Жаль, жаль, вам много тренировок теперь придётся пропустить, — качает Елена Валерьевна головой. — Ну, потом втянетесь. Я, знаете, бедро ломала, упала с коня. Год не могла ездить. — И вдруг — совсем по-другому, понизив голос: — Я вас только попрошу, знаете что... Пожалуйста, чтобы всё — только в этих стенах. Ну, вы понимаете... Мы сейчас как раз входим в такой период... ищем гранты... хотим поднимать престиж клуба. Нам скандалы не нужны.

— Так нас не закрывают? — вдруг вырывается у меня, и тут же прикусываю язык. Как маленькая, честное слово!

— Как — закрывают? Кто это сказал? — Елена Валерьевна глядит встревоженно.

Папа хмурится, показывает мне глазами, чтобы молчала.

— Не переживайте, дети просто неправильно поняли всю эту суету перед соревнованиями, ну, знаете, переволновались, напридумывали неизвестно чего...

«Дети! — фыркаю про себя. — А сам-то!»

— Нет, всё нормально. Мы, напротив, планируем расширяться. Солярий построим, один сарай снесём, сделаем леваду¹, будем искать лошадей спортивных,

¹ Л е в á д а — загон для свободного выгула лошадей.

чтобы развиваться, соревнования районного уровня проводить...

— И Анжелин папа вам не звонил? — спрашиваю снова. Делаю вид, что не замечаю никаких папиных сигналов: я умру, если не узнаю. Я должна спросить.

— Кто?

— Папа Анжелы Баратоевой. Она в старшей группе... была.

— Да, я помню. Анжела... Анжела ушла, да? Что-то у них там с тренером не сложилось. Больше я ничего не знаю. А почему он должен был звонить?

Папа закатывает глаза. Я его игнорю.

— Про ногавки там... Не говорил ничего про ногавки? Про Таню Лавриненко...

— Таня... — Лицо Елены Валерьевны меняется. Она морщится, как будто ей кто-то наступил на палец. Садится за стол, принимает совсем уж официальный вид. — Таня — перспективная всадница. Мне очень, очень жаль, что она ушла в другой клуб. Такие талантливые дети делают клубу имя. Но Лиза права: к сожалению, здесь для неё нет возможностей для роста. Я её понимаю. Лиза же сама, знаете, моя бывшая ученица. Я прекрасно её понимаю — чтобы развиваться, надо заниматься на лошадях, которые могут чему-то научить. Это, знаете ли, была ещё одна причина, чтобы подумать о модернизации нашей школы.

И она заводит снова про солярий, леваду и новых коней, которые когда-то в ней будут ходить, а я не слушаю — у меня как будто камень с души, и я сейчас взлечу. Потому что теперь-то я точно знаю — и Таня ни при чём, и Анжелкин папа никому не звонил. Она вообще только пугала всех этим своим папой. Ну и

шут с ней, мне сейчас так хорошо, что даже на глупую Анжелку плевать, — потому что невозможно было всё это в себе носить, и невозможно, оказывается, так долго думать о человеке плохо.

Но теперь я спокойна: Таня ни при чём. И её никто не выгонял. Просто Елизавета Константиновна позвала её заниматься на своём коне. Который может её чему-то научить.

«Ну и ладно, — думаю я, когда мы уже выходим на улицу. — И пусть занимается. Талантливый всадник. Будет мастером спорта, как Елизавета Константиновна. Будет зарабатывать кубки и цветные розетки. Будет сама потом детей учить. Это же так здорово, когда человек своё будущее знает».

— Ну и чего ты приуныла, Кроль? Все животрепещущие вопросы задала? — спрашивает папа, когда мы выходим.

Я киваю: все. А что Таня уже никогда не придёт на нашу конюшню, не будет помогать седлать Эльбруса, не станет ездить на Изумруде — об этом лучше не думать. В конце концов, у каждого своя жизнь. И не должна она была мне ничего объяснять. Разве мы с ней друзья? Я даже не знала, какую музыку она слушает там, в своих наушниках.

— Идём, — говорит папа. — А то мама с Велькой замёрзли, наверное.

И пытается натянуть варежку на больную руку, тянет её за край зубами.

— Дай помогу, — говорю. Берусь сама. Гипс быстро ныряет в неё, как в домик.

— А я думай — он, не он, чей голос, а? — Из домика выходит Мунир. Без куртки, за ним тянется дух

незнакомой еды и тепло протопленного жилья. — Что, за ёлкой пришёл?

— Да нет, по делам. — Папа улыбается ему.

— Какие дела, а? Новый год, да, ёлка наряжай, шампанское в холодильник ставь. Какие могут быть дела в праздник?

Я молчу. Я не хочу вспоминать про ёлку, про единственный мой подарок. Мне стыдно, что я её выкинула. Нельзя так, я понимаю, но в тот момент ничего сделать с собой не могла. Кому только она досталась?

— Так что, забирай, да? — говорит Мунир и кивает куда-то за сарай.

— Что забирай? — не понимает папа.

— Ёлка.

— Ёлка? Какая?

Но я уже всё поняла.

— Ёлка! Мунир! — И бросаюсь туда, ныряю в про-
стенок, где стоят лопаты и вилы, а она там — аккумуля-
торная, завёрнутая в сетку. Мой подарок.

— Я уже закрывай, смотрю: что такое? Лежит. Ва, алла! Забыли, что ли?

— Да видишь, я же вчера руку... надо было в больницу... засуетились, — оправдывается папа, пока я вы-
таскиваю её из-за сарая — большую, почти с меня.

— Спасибо, Мунир! Вы — мой спаситель.

— Какой спаситель! — Смеётся. Смуглое лицо све-
тится, раскосые глаза утопают в сетке белёсых мор-
щин. — Давай иди, маме помогай.

И вот мы шагаем домой все вместе — мама, папа, Велька, ёлка и я. Мы несём её втроём, папа идёт



рядом. И это совсем-совсем по-другому, не так, как шли мы вчера. И мы другие.

Мы придём домой и нарядим ёлку. Мы достанем те же игрушки, которые каждый год вешаем на искусственную, только теперь ёлка будет настоящая и дома станет пахнуть лесом. Не парком, а именно лесом, и это хорошо.

А потом наступит Новый год. И будет десять праздничных дней, когда папе не надо ходить на работу, и мы будем каждый день вместе. Будем гулять в парке и кататься с горки. Мама станет сердиться и говорить, что папе с его рукой это ни в коем случае нельзя, а папа засмеётся, поцелует маму в нос и поедет на ватрушке, подняв вверх правую руку, как будто приветствуя кого-то. А потом в клубе начнутся занятия, и на первую тренировку я принесу конфет и угощу моих «хвостиков». Они ужасно обрадуются, и даже Ульяна, красная от смущения, не станет отказываться, а возьмёт конфету и спрячет в карман. А папа будет говорить, что ему завидно, что я занимаюсь, а он нет, и они все втроём станут приходить на тренировки смотреть, как я езжу на Чибоне.

А однажды туда заскочит Таня. Дождётся меня на конюшне и будет рассказывать, пока я чищу коня, что ужасно, ужасно занята, она теперь по полдня проводит в другом КСК, до которого только ехать час, работает там и помогает Елизавете Константиновне, зато занимается на Кириюше и скоро поедет на областные соревнования. А потом предложит обменяться телефонами. Я продиктую свой и скажу: «Велеслава. Меня на самом деле зовут Велеслава». Она удивится, а я пожму плечами: вот так. Ведь с тобой никто не захочет об-

щаться, пока ты сам не знаешь, кто ты. А я теперь — знаю.

А дома по вечерам мы начнём читать «Вечера на хуторе близ Диканьки», все вместе, по кругу, и папа будет читать жутким голосом про утопленниц, мы с Велькой — визжать от восторга, а мама молча покачает головой и ничего не скажет. Только посмотрит на папу с такой любовью, что мне станет грустно, что они уезжают.

Потому что десятого января они улетят в Германию, и мы с папой останемся вдвоём. Нет, нам, конечно, хорошо вместе. Да и мама с Велькой скоро вернется, через каких-то три месяца, так что соскучиться не успеем, как шутит папа. Но я всё равно переживаю и в глубине души верю, что Велька останется прежним. Да, научится говорить и будет рассказывать нам всё, что хочет и чувствует, а не играть об этом на пианино. Но всё равно останется прежним.

Инопланетным. Нездешним. Ни на кого не похожим.

Моим маленьким Тоторо.



Для детей старше 12 лет (12+)
(В соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ)

Литературно-художественное издание
Для среднего и старшего школьного возраста

Серия «САМИ РАЗБЕРЁМСЯ!»

Богатырёва Ирина Сергеевна

Я — СЕСТРА ТОТОРО

Повесть

Ответственный редактор
В. Ю. Лебедева

Художественный редактор
Е. М. Ларская

Корректоры
О. И. Голева, Р. В. Низяева

Подготовка иллюстраций для печати
Д. С. Попов

Компьютерная вёрстка
В. И. Тушева

Дизайн переплёта
Т. В. Добролюбова



Подписано в печать 29.12.20. Формат 60х84¹/₁₆. Бумага офсетная № 1.
Шрифт Newton. Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,81. Уч.-изд. л. 9,24.
Тираж 3000 экз. Заказ .

Орден Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов
АО «Издательство «Детская литература».
117418, Москва, ул. Новочерёмушкинская, 61.
www.detlit.ru

По вопросам приобретения книг обращайтесь
по тел.: +7(495)933-55-65, доб. 205

СЕРИЯ «САМИ РАЗБЕРЁМСЯ!»

Современные подростки ждут от взрослых не поучения, но открытого диалога на равных.

«Не учите нас жить, мы сами разберёмся!» — говорят они тем, кто пытается читать им мораль. — Мы умнее, чем кажемся, честное слово! Нам интересно всё новое, нам до всего есть дело. И даже если жизнь порой преподносит сюрпризы, которых не ждёшь, мы способны набраться мужества, «включить голову» и принять верное решение. Да, мы можем ошибаться, но не стоит обижать нас недоверием. Хотите помочь? Помогите. Но не раньше, чем это станет необходимо!»

В новой серии книг «Сами разберёмся!» главные герои — современные школьники. Благодаря вере в любовь, дружбу, справедливость они всегда делают верный выбор.



Серию открывают книги:

Ирина Богатырёва

«Я — СЕСТРА ТОТОРО» (повесть)

Ксения Драгунская

«СКОРОСТЬ ВЕСНЫ» (сборник рассказов)

Александр Турханов, Виктория Лебедева

«ГОЛОС БОГА ОБАТАЛА» (повесть)

Сергей Чуев

«НАСТОЯЩЕЕ ЛЕТО ДИМКИ БОБРИКОВА» (повесть)

